





Леонид
АНДРЕЕВ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
РОМАНОВ, ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ
В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)я5
А65

Серия основана
в 2007 году

Андреев Л. Н.

А65 Полное собрание романов, повестей и рассказов в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. — 1243 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-2560-0

В одном томе собраны все романы, повести и рассказы одного из самых ярких писателей Серебряного века, основоположника течения экспрессионизма в литературе — Леонида Николаевича Андреева (1871—1919).

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)я5

ISBN 978-5-9922-2560-0

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017

РОМАНЫ

САШКА ЖИГУЛЁВ

Роман в двух частях

Часть I САША ПОГОДИН

1. Золотая чаша

Жаждет любовь утоления, ищут слезы ответных слез. И когда тоскует душа великого народа, — мятется тогда вся жизнь, трепещет всякий дух живой, и чистые сердцем идут на заклание.

Так было и с Сашею Погодиным, юношею красивым и чистым: избрала его жизнь на утоление страстей и мук своих, открыла ему сердце для вещей зовов, которых не слышат другие, и жертвенной кровью его до краев наполнила золотую чашу. Печальный и нежный, любимый всеми за красоту лица и строгость помыслов, был испит он до дна души своей устами жаждущими и умер рано, одинокой и страшной смертью умер он. И был он похоронен вместе со злодеями и убийцами, участь которых добровольно разделил; и нет ему имени доброго, и нет креста на его безвестной могиле.

Кто закроет глаза убийце? До последнего суда остаются открыты они и смотрят в темноту покорно. Кто осмелится закрыть глаза Сашке Жегулеву?

Но мать жива, и мать зовет его:

— Мой нежный Саша.

2. Детство Саши

Того, что называют ясным детством, кажется, совсем не было у Саши Погодина. Хотя был он ребенком, как и все, но того особого чувства покоя, безгрешности и веселой бодрости, которое связано с началом жизни, не хранила его память. Казалось, не родился он, как другие, а проснулся: заснул старым, грешным, утомленным, а проснулся ребенком; и все позабыл он, что было раньше, но чувство тяжелой усталости и неведомых тревог лежало бременем уже на первых отроческих днях его. Давно, еще в Петербурге, когда был жив отец, подошел Саша к матери и странно-серьезным голосом пожаловался:

— Ах, мамочка, как я устал, если бы ты знала.

— Набегался, вот и устал, — сказала мать: она видела, как Саша с другими детьми только что носился дико по большому казенному двору и визжал от восторга, — поменьше шалить надо, тогда и не будешь уставать. Смотри, как измался!

— Нет, я не от этого.

— А от чего же? — вот смешной!

— Так. Я так устал! Как же ты не понимаешь: просто так.

Тут Елена Петровна первый раз в жизни, как ей показалось, взглянула сыну в глаза и испугалась: «Умрет он от скарлатины!» — подумала она, так как в эту пору особенно боялась для детей скарлатины. Но эпидемия прошла мимо, и вообще Саша был совершенно здоров, рос крепко и хорошо, как и его младшая сестренка, нежный и крепкий цветочек на гибком стебельке, — а то темное в глазах, что так ее испугало, осталось навсегда и не уходило. Как и сестренка, Саша был отчаянно и неустойчиво смешлив, и отец его, генерал, иногда нарочно пользовался слабостью: вдруг за чаем, когда у Саши полон рот, скажет что-нибудь смешное: Саша крепится, надует щеки, но не хватает сил — брызнет чаем на скатерть и бежит отсмеиваться в соседнюю комнату. Генерал хохочет и дразнит, а Елена Петровна всматривается в глаза вернувшегося Саши и думает: «Ну, конечно, он будет убит на войне» — в это время Сашу как раз отдали, по желанию отца, в кадетский корпус.

И, вероятно, от этого вечного страха, который угнетал ее, она не оставила Сашу в корпусе, когда генерал умер от паралича сердца, немедленно взяла его; подумав же недолго, распродала часть имущества и мебели и уехала на жительство в свой тихий губернский город Н., дорогой ей по воспоминаниям: первые три года замужества она провела здесь, в месте тогдашнего служения Погодина. Женщина она была твердая, умная, и ей казалось, что в мирной и наивной провинции она вернее сохранит сына, нежели в большом, торопливом и развращенном городе.

Приятный, нисколько не изменившийся Н. не обманул надежд и с готовностью покрыл их своей ненарушимой тишиной. Перестал быть страшным и Саша: в своей мирной гимназической одежде, без этих ужасных погон, он стал самым обыкновенным мальчуганом; и от души было приятно смотреть на его большой пузатый ранец и длинное до пяток ватное пальто. Как это ни странно, но, кажется, ни одна гадалка, ни один прорицатель не могли бы так успокоить Елену Петровну, как это длинное не по росту ватное, точно накрахмаленное пальто; взглянет из окна, как плетется Саша по немощной улице, еле двигает глубокими галошами, подгибая ватные твердые фалды, и улыбнется:

«А я-то боялась... Какие же могут быть ужасы? Вот бы посмотрел генерал!»

Теперь ей казалось, будто и генерал — как она и после смерти называла мужа — разделял ее страхи, хотя в действительности он не дослушал ни одной ее фразы, которая начиналась словами: «Я боюсь, генерал...»

— А ты не бойся! — говорил он строго и отбивал охоту к тем смутным, женским излишням, в которых страх и есть главное очарование и радость.

Были и еще минуты радостного покоя, тихой уверенности, что жизнь пройдет хорошо и никакие ужасы не коснутся любимого сердца: это когда Саша и сестренка Линочка ссорились из-за переводных картинок или вопроса, большой дождь был или маленький, и бывают ли дожди больше этого. Слыша за перегородкой их взволнованные голоса, мать тихо улыбалась и молилась как будто не вполне в соответствии с моментом: «Господи, сделай, чтобы всегда было так!»

Но ссорились дети очень редко, были нежно влюблены друг в друга, целые дни проводили в тихой влюбленности. Когда-то сильная любовь отца и матери вторично переживала себя в них — но уже лишенная материальности, ставшая лишь отзвуком отдаленным, прекрасным и чистым. И так странно перемешались черты: Линочка всем внешним обликом своим и характером повторяла отца-генерала; крепкая, толстенькая, с румяным, круглым, весело-возбужденным лицом и сильным, командирским голо-

сом — была она вспыльчива, добра, в страстях своих неуправима, в любви требовательна и ясна. Если она плакала, то это не были тихие слезы в уголке, а громкий на весь дом, победоносный рев; а умолкала сразу и сразу же переходила в тихую, но неуправимо-страстную лирику или в отчаянно-веселый смех. Была ли она радостна, гневна или печальна — об этом знали все. Но у генерала, на которого она так походила, при всех его достоинствах, не было никаких талантов, — Линочка же вся была прожжена, как огнем, яркой и смелой талантливостью. Возьмет в толстенные, короткие пальчики карандаш — бумага оживает и смеется; положит те же коротенькие пальчики на клавиши: старый рояль с пожелтевшими зубами вдруг помолодел, поет, весело завирается; а то сама выдумает страшную сказку, сочинит веселый анекдот.

Рядом с нею молчаливый Саша казался неприметным и даже бледным. Лицом своим он и действительно был бледен и смугл, этим, как и всем остальным, походя на Елену Петровну: по матери своей Елена Петровна была гречанкой, лицо имела смуглое и тонкое, глаза большие, темные, иконописные — точно обведенные перегоревшим, но еще горячим, коричнево-черным пеплом. Такие же глаза были и у Саши, а смуглостью своей он удивлял даже и мать: лицо еще терпимо, а начнет менять рубашку — смотреть смешно и странно, точно и не сын, а совсем чужой и далекий человек. Удивляло это; а что еще удивляло и даже до глубины души огорчало Елену Петровну — это полное, казалось, отсутствие талантливости, прискорбное сходство с генералом. Первое время ихней жизни в Н., когда Елена Петровна всеми силами стремилась установить в своей жизни культ красоты, эта Сашина бездарность казалась ей ужасным горем, даже оскорбляла ее, точно ее самое лишили талантов или сказали, что она в своей талантливости ошибается и нет ее совсем.

— Ах, Саша, хоть бы у тебя слух был, а то и слуха нет! — несправедливо упрекала она сына и, чувствуя несправедливость, еще увеличивала ее: — Смотри, как играет Линочка.

А Линочка всплескивала руками и в бурном отчаянии стонала:

— Да и не говори же, родная моя мамочка! У него слуху, как у этой тумы, нет на копейку. Учю я его, учю, а он даже собачьего вальса не знает!

— Собачий вальс я знаю, — серьезно говорил Саша, не поднимая темных, жутко обведенных глаз.

— Сашка! не зли меня, пожалуйста; под твой вальс ни одна собака танцевать не станет! — волновалась Линочка и вдруг все свое негодование и страсть перенесла на мать. — Ты только напрасно, мама, ругаешь Сашеньку, это ужасно — он любит музыку, он только сам не может, а когда ты играешь эту твою тренди-бренди, он тебя слушает так, как будто ты ангельский хор! Мне даже смешно, а он слушает. Ты еще такого слушателя пощи! За такого слушателя ты Бога благодарить должна!

— Ну, понесла! — радовалась упрекам Елена Петровна, чуть-чуть краснея от удовольствия.

При всех своих талантах она сама была в музыке горестно бездарна и за всю свою жизнь только и научилась играть, что «тренди-бренди» — случайный, переиначенный отрывок из неведомой пьесы, коротенькую вещицу, наивную и трогательную, как детский первый сон. И то, что этот странный Саша так любит эту вещицу, постоянно требует ее, льстило ей, а в неприязнительности звуков заставляло угадывать какой-то новый смысл, непонятную значительность. А для обреченного Саши, когда вступил он в чреду страшных событий и познал ужас одиночества, эта песенка стала как бы молитвой, источником чистой печали, тихой скорби о навеки утраченном.

Но, как видит глаз сперва то, что на солнце, а потом с изумлением и радостью обретает в тени сокровище и клад, — так и Линочка яркая талантливость только при первом знакомстве и на первые часы делала Сашу неприметным. И менялось все с той именно минуты, как увидит человек Сашины глаза, — тогда вдруг и голос его услышит, а то и голоса не слышал, и почувствует особую значительность самых простых слов его, и вдруг неожиданно заключит: а что такое талант? — да и нужен ли талант? Но неохотно открывал Саша свой взгляд, как будто знал важность и святость хранящейся в нем тайны, обычно смотрел вниз, на стол или на руки. Эту его особенность хорошо знала Елена Петровна и в материнской гордости, чтобы не дать гостю несправедливо подумать о Саше, заставляла его взглянуть широко и прямо.

Вдруг неожиданно спрашивала:

— Голова не болит у тебя, Сашенька?

Знала, что после этого неожиданного и нелепого-таки вопроса Саша непременно взглянет широко открытыми глазами, несколько секунд будет смотреть удивленно, а потом открыто и ясно улыбнется:

— Отчего же ей болеть? — нет, не болит.

И знала, что после этого взгляда и улыбки гость обязательно подумает: «Какой у нее хороший сын!», а вскоре, уйдя из-под Линочкиных чар, подойдет к Саше, и начнет его допытывать, и не допытает ничего, и за это еще больше полюбят Сашу, и, уходя, уже в прихожей, непременно скажет Елене Петровне:

— Какие у вас хорошие дети, Елена Петровна!

— Да, славные ребятки! — спокойно ответит она и нарочно запустит сухую, но ласковую руку в Линочкины русые кудряшки, прижмет к себе ее горячую, красную щеку; и этим мнимым непониманием окончательно добьет провинившегося и жалкого гостя.

Но Линочка и сама разделяет чувство матери и, ласкаясь, смотрит на глупого гостя с явной насмешкой и страстно думает: «Вот дурак!» А потом, прощаясь с братом на ночь, шепчет ему громким на весь дом шепотом:

— Она тобою гордится! — И еще громче: — Я тоже!

«Она» между детьми называлась мать, а покойный и наполовину забытый отец назывался, по примеру матери, «генералом».

3. Наставник мудрый

Взаимной влюбленности детей, как и проявлению в них всего доброго, очень помогала та жизнь, которую с первых же дней пребывания в Н. устроила Елена Петровна. Труднее всего вначале было найти в городе хорошую квартиру, и целый год были неудачи, пока через знакомых не попало сокровище: особнячок в пять комнат в огромном, многодесятичном саду, чуть ли не парке: липы в петербургском Летнем саду вспоминались с иронией, когда над самой головой раскидывались мощные шатры такой зеленой глубины и непроницаемости, что невольно вспоминалась только что выученная история о патриархе Аврааме: как встречает под дубом Господа.

А в осенние темные ночи их ровный гул наполнял всю землю и давал чувство такой шири, словно стен не было совсем и от самой постели, в темноте, начиналась огромная Россия. Даже Линочка в такие ночи не сразу засыпала и, громко жалуясь на бессонницу, вздыхала, а Саша, приходилось, слушал до тех пор, пока вместо сна не являлось к нему другое,

чудеснейшее: будто его тело совсем исчезло, растаяло, а душа растет вместе с гулом, ширится, плывет над темными вершинами и покрывает всю землю, и эта земля есть Россия. И приходило тогда чувство такого великого покоя, и необъятного счастья, и неизъяснимой печали, что обычный сон с его нелепыми грезами, досадным повторением крохотного дня казался утомлением и скукой.

Первое время петербургские дети боялись сада, не решались заходить в глублину; и особенно пугала их некая недоконченная постройка в саду, кирпичный остов, пустоглазый покойник, который не то еще не жил совсем, не то давно умер, но не уходит. Весь он пророс бурьяном, крапивой и красными цветами, а в одной из беззащитных комнат, где должны были жить люди, спокойно зеленела березка — хоронила кого-то. Но прошло время, и к саду привыкли, полюбили его крепко, узнали каждый угол, глухую заросль, таинственную тень; но удивительно! — от того, что узнавали, не терялась таинственность и страх не проходил, только вместо боли стал радостью: страшно — значит хорошо. И у каждого из детей уже появилось свое любимое тихое местечко, недоступное и защищенное, как крепость; только у девочки Линочки ее крепости шли по низам, под кустами, а у мальчика Саши — по деревьям, на высоте, в уютных извивах толстых ветвей. Ходили друг к другу в гости, и Линочка ужасалась.

И о чем бы ни задумывались дети, какими бы волнениями ни волновались, — начала всех мыслей и всех волнений брались в саду, и там же терялись концы: точно наставник мудрый, источающий знание глубокими морщинами и многодумным взором, учил он детей молчанием и строгостью вида. Без него, пожалуй, не узнал бы Саша так хорошо, ни что такое Россия, ни что такое дорога с ее чудесным очарованием и манящей далью. И если Россию он почувствовал в ночном гуле мощных деревьев, то и к откровению дороги привел все тот же сад, привел неумышленно, играя, как делают мудрые: просто взлез однажды Саша на забор в дальнем углу, куда никогда еще не ходил, и вдруг увидел — дорогу. Две стены ветхого забора и свесившихся деревьев, а посередине две теплые, пыльные, пробитые в ползучей траве колеи идут далеко, зовут с собою. И никого живого — тишина в глухой улочке: то ли уже проехал, то ли еще проедет. И как Саша ни старался, так и не удалось ему поймать неведомого, который проезжает, оставляя две теплые колеи; когда ни взлезет на забор, — на улочке пусто, тишина, а колеи горят: то ли уже проехал, то ли еще проедет. Так и не увидал неведомого и оттого свято поверил в дорогу, душою принял ее немой призыв; и впоследствии, когда развернулись перед Сашей все тихие проселки, неторопливые большаки и стремительные шоссе, сверкающие белизною, то уже знала душа их печальную сладость и радовалась как бы возвращенному.

Радовалась саду и Елена Петровна, но не умела по возрасту оценить его тайную силу и думала главным образом о пользе для здоровья детей; для души же ихней своими руками захотела создать красоту, которой так больно не хватало в прежней жизни с генералом. Начала с утверждения, что красота есть чистота, — и что же она делала для чистоты! Знала она, что все дети любят грязь, и прямо, как умная, с грешной страстью не боролась, но мыла детей немилосердно, шлифовала их, как алмазы, и таки приучила: самостоятельно, два раза, утром и вечером, вытираться холодной водой, — уже они и сами не могли без этого обходиться. И, не любя животных, кошку даже с котятками терпела только за то, что она всегда чиста и умывается. Говорила:

— Смотри, Линочка! — с Линочкой ей было много труда, — смотри: и где только сегодня она ни была, сейчас после дождя бежала по двору, а какая чистая! Оттого, что умывается.

А кошка с темным прошлым мерцала загадочно желтыми глазами, жила еще в прошлом; но вдруг опомнилась и начала свой длительный и приятный обряд.

И всю квартиру свою Елена Петровна привела к той же строжайшей чистоте, сделала ее первым законом новой жизни; и все радовалась, что нет денщиков, с которыми никакая чистота невозможна. Потом занялась красотою вещей. Со вкусом, составлявшим неразрешимую загадку для залостуного Н., вдруг изменила обычный облик всех предметов, словно надыхала в них красотою; нарушила древние соотношения, и там, где человек наследственно привык наткаться на стул, оставила радостную пустоту. Сама расшила занавеси на окнах и дверях, подобрала у окон цветы, протянула по стенам крашеную холстину — что-то зажелтело, как солнечный луч, а там ушло в мягкую синеву, прорвалось красным и радостно ослепило. Наружу зима, а в комнатках весна и осень, цветы цветут, и на блестящем полу, золотых пятнах солнечных, хочется играть как котенку.

И всем, кто видел, нравилось жилище Погодиных; для детей же оно было родное и оттого еще красивее, еще дороже. И если старый сад учил их Божьей мудрости, то в красоте окружающего прозревали они, начинающие жить, великую разгадку человеческой трудной жизни, далекую цель мучительных скитаний по пустыне. Так по-своему боролась с Богом Елена Петровна. Но одного все же не предусмотрела умная Елена Петровна: что наступит загадочный день, и равнодушно отвернутся от красоты загадочные дети, проклянут чистоту и благополучие, и нежное, чистое тело свое отдадут всечеловеческой грязи, страданию и смерти.

Было одно неудобство, немного портившее квартиру: ее отдаленность от центра и то, что в гимназию детям путь лежал через грязную площадь, на которой по средам и пятницам раскидывался базар, наезжали мужики с сеном и лыками, пьянствовали по трактирам и безобразничали. Трактирами же была усажена площадь, как частоколом, а посередине гнила мутная сажалка, по которой испокон веку плавали запуганные утка и селезень с обгрызанным хвостом; и если развезенное сено и соломинки и давали вид некоторой домовитости, то от конской мочи и всяких нечистот щипало глаза в безветренный день. Линочка, в первый раз пройдя по площади, сразу возненавидела мужиков, Саша же отнесся с крайним любопытством, хотя и испугался немного и задышал чаще. Но скоро привык, и что-то даже понравилось: запах ли дегтя или даже конской мочи, окладистые ли бороды, полушубки, пьяные песни — он и сам не знал. Одно он видел: они были совсем другие, чем все, как будто из другого царства, и это и есть их главный и огромный интерес. Очень возможно, что тут была обычная романтика ребенка, много читавшего о путешествиях; но возможно и другое, более похожее на странного Сашу: тот старый и утомленный, который заснул крепко и беспмятно, чтобы проснуться ребенком Сашей, увидел свое и родное в загадочных мужиках и возвысил свой темный, глухой и грозный голос. Его и услышал Саша.

По воскресеньям Елена Петровна ходила с детьми в ближайшую кладбищенскую церковь Ивана Крестителя. И Линочка бывала в беленьком платье очень хорошенькая, а Саша в гимназическом — черный, тоненький, воспитанный; торжеством было для матери провести по народу таких детишек. И особенно блестяла у Саши медная бляха пояса: по утрам перед церковью сам чистил толченым углем и зубным порошком.

Нищенки-старухи у кладбищенских белых ворот относились к Елене Петровне враждебно и звали ее между собой: «генеральша-то!». Но когда

показывалась она с детьми, то высыпали ей навстречу и пели льстивыми голосами:

— Матушка! Деточки-то! И даст же Господь! Матушка!..

От знакомств Елена Петровна уклонялась: от своего круга отошла с умыслом, а с обывателями дружить не имела охоты, боялась пустяков и сплетен; да и горда была. Но те немногие, кто бывал у нее и видел, с каким упорством строит она красивую и чистую жизнь для своих детей, удивлялись ее характеру и молодой страстности, что вносит она в уже отходящие дни; смутно догадывались, что в прошлом не была она счастлива и свободна в желаниях.

Но даже и дети не знали, что задолго до их рождения, в первую пору своего замужества, она пережила тяжелую, страшную и не совсем обычную драму, и что сын Саша не есть ее первый и старший сын, каким себя считал. И уж никак не предполагали они, что город Н. дорог матери не по радостным воспоминаниям, а по той печали и страданию, что испытала она в безнадежности тогдашнего своего положения.

Это было за семь лет до Саши, и генерал тогда сильно и безобразно пил — даже до беспамятства и жестоких, совершенно бессмысленных поступков, не раз приводивших его на край уголовщины; и случилось так, что, пьяный, он толкнул в живот Елену Петровну, бывшую тогда на седьмом месяце беременности, и она скинула мертвого ребенка, первенца, для которого уже и имя мысленно имела: Алексей. И хотя Погодин и уверял, что ударил нечаянно, — и, кажется, это была правда, — оскорбленная женщина решительно отказалась от детей и всякой близости с мужем, пока он совсем и навсегда не бросит пить. Целый год генерал выдерживал пытку и жил с женой в одном доме, но как посторонний; потом на три года разъехался с Еленой Петровной и все три года отчаянно пил и путался с женщинами. И снова поселился с женой, пробуя обмануть ее, и снова разъехался — пока, наконец, побледневший от злобы и неутолимой любви, не расплакался у ее ног и не дал страшной клятвы, обета трезвости.

И вторично стала женою его Елена Петровна, и родила ему Сашу, а через полтора года и Линочку; и даже не знали дети, что отец их пил когда-нибудь. Твердо держал свою клятву генерал, но уже незадолго до смерти, после одного из страшных своих сердечных припадков, вдруг прохрипел жене:

— Ты думаешь, я для тебя не пью? Ну так знай же, что я тебя ненавижу и проклинаяю... изверг! Убить тебя мало за то, что ты мне сделала.

Но тут поняла и она, что нет и у нее прощения и не будет никогда — и сама смерть не покроет оскорбления, нанесенного ее чистому, материнскому лону. И только Саша, мальчик ее, в одну эту минуту жестокого сознания возрос до степени высочайшей, стал сокровищем воистину неоцененным и в мире единственным. «В нем прощу я отца», — подумала она, но мужу ничего не сказала.

С тем и умер генерал. И ничего не знали дети.

4. Дети растут

Года три жила Елена Петровна спокойно и радостно и уже перестала находить в Саше то особенное и страшное; и когда первую в чреде великих событий, потрясших Россию, вспыхнула японская война, то не поняла предвестия и только подумала: «Вот и хорошо, что я взяла Сашу из корпуса». И многие матери в ту минуту подумали не больше этого, а то и меньше.

Но уже близились страшное для матерей. Когда появились первые подробные известия о гибели «Варяга», прочла и Елена Петровна и заплакала: нельзя было читать без слез, как возвышенно и красиво умирали люди, и как сторонние зрители, французы, рукоплескали им и русским гимном провожали их на смерть; и эти герои были наши, русские. «Прочту Саше, пусть и он узнает», — подумала мать наставительно и спрятала листок. Но Саша и сам прочел.

— Отчего ты такой бледный, Сашенька? Устал в гимназии?

— Устал.

— Тебе не хочется говорить? А я думала прочесть тебе про «Варяга».

— Мы уже читали.

Она не расслышала слова «мы» и видела только хмурую бледность, вдруг заметила, что обвод глаз стал словно чернее и сами глаза глубже. И не успела еще осмыслить замеченного, как поднял Саша эти самые свои пугающие глаза и строго сказал:

— Ты не имела права. Зачем ты взяла меня из корпуса? Ты не имела права. Отец не позволил бы брать, если бы не умер.

Она чуть не закричала, но сдержалась и сухо, избегая взгляда, сказала:

— Тебе четырнадцать лет! Этого слишком мало, чтобы судить о поступках матери. И ты сам никогда не хотел военной службы.

— Ты не имела права. Люди там умирают, а ты меня бережешь. Ты не имеешь права меня беречь.

— Саша!

Но он не стал говорить и ушел в сад, на узенькую дорожку в снегу, которую прочистил сам; и ходил до самых синих сумерек раннего зимнего заката. Если бы он заплакал, знала бы, как поступить, чтобы утишить детское горе, но страдание молчаливое и сдержанное делало ее бессильною и пугало: слишком много чувствовалось в нем непонятной мужской силы. «Говорит такое, а сам и не волнуется как будто», — подумала Елена Петровна про Сашины жуткие глаза. Но когда подошла к зеркалу, чтобы оправиться, как по женской своей привычке делала после каждого сильного волнения, то увидела, что и она по внешности совсем спокойна и даже незачем оправляться. Долго смотрела Елена Петровна на свое отражение и многое успела передумать: о муже, которого она до сих пор не простила, о вечном страхе за Сашу и о том, что будет завтра; но, о чем бы ни думала она и как бы ни колотилось сердце, строгое лицо оставалось спокойным, как глубокая вода в предвечерний сумрак. Отходя, она провела рукой по гладким волосам и решила: «Это у нас характер такой... что ж, я очень рада».

Тяжелый и опасный разговор не возобновлялся по тайному соглашению матери и сына, а вскоре Елена Петровна и совсем позабыла о холодной и странной вспышке. К тому времени с Дальнего Востока потянуло первым холодом настоящих поражений, и стало неприятно думать о войне, в которой нет ни ясного смысла, ни радости побед, и с лёгкостью бессознательно предательства городок вернулся к прежнему миру и сладкой тишине. Успокоились и городские дети, и хотя по-прежнему играли в войну, но охотнее именовали себя японцами; но увлекались японцами и взрослые, ставили в пример их отношение к смерти и даже маленький рост.

Как-то вечером, уже в первых числах марта, разразилась последняя свирепая метель, и голый сад загудел напряженно и страстно; казалось, будто весь он поднялся на воздух и летит стремительно, звеня крылами и тяжело вздыхая обнаженной грудью. Мамы не было дома, она ушла еще после обеда куда-то в гости, и Линочка рисовала, когда в тихую комнатку ее тихо вошел Саша и сел у стола, в зеленой тени абажура. Та же зеленая

ть крыла и Линочкино лицо, делая его худее и воздушней; а короткие пальчики, ярко освещенные и одни как будто живые, проворно и ловко работали карандашом и резинкой. На Сашу она не взглянула, так как привыкла к таким посещениям, и только через минуту сказала, не поднимая глаз от рисунка:

— Теперь в лесу волки.

— Что-то не хочется читать, — сказал Саша. — У тебя в комнате теплее, а у меня снег бьет прямо в окна.

— Ну и сиди, грейся.

Замолчали. Саша слушал, как в звоне и гуле улетает сад; и странно было, что сквозь его мощный рев пробивается тихое, уютное поскрипывание карандаша по бумаге — странно и приятно.

— Лина!

— Ну?

— Ты любишь называть меня греченочком. Пожалуйста, не называй меня так, я не хочу быть похожим на грека.

— Да родной же мой Сашечка...

Крепко потеряла резинкой и продолжала:

— Да родной же мой Сашечка! — отчего не называть? Греки бывают разные. Ты думаешь, только такие, которые небритые и с кораллами... а Мильтиад, например? Это очень хорошо, я сам, я сама хотела бы быть похожей на Мильтиада.

— Нет, я не хочу. Я хочу быть похожим на русского.

— Ну как хочешь! Русский так русский.

Снова помолчали. Саша сказал:

— Байрон был великий поэт. Он умер, сражаясь за свободу греков.

— Я знаю, — ответила Линочка, хотя в первый раз услышала, что Байрон умер за свободу. — Не мешай, Сашечка, а то навру.

— А она похожа на гречанку.

— Мама?

Вопрос был нов и интересен, и Линочка положила карандаш. Оба, нахмурившись, смотрели друг на друга, вспоминая, что видели греческого, но только и могли вспомнить, что гимназическую гипсовую Минерву с крутым подбородком и толстыми губами.

— Нет, не похожа! — решила Линочка, вздыхая от натуги.

Саша улыбнулся в своей зеленой тени:

— А я знаю, на кого она похожа. Сказать? Она похожа на одну бабу с базара, которая продает селедки, такая закутанная в платок.

— Ну вот глупости, нашел с кем сравнить! Мама такая... — Линочка искала слова, но не нашла, — такая... барыня.

— Нет, правда. Я не могу тебе объяснить, но она ужасно, ужасно похожа! Особенно, когда никто не покупает и она сидит так, сложив руки, и совсем не шевелится, а из-под платка такие ужасно огромные глаза. Ты не думай, я ее уважаю.

— Погоди, не мешай, я припоминаю.

Линочка совсем спрятала глаза в брови и полураскрыла рот; и вдруг задохнулась и зловещим шепотом сказала:

— Сашенька! Я нашла!

И все более таинственным шепотом, округлив глаза, шептала:

— В нашей церкви... знаешь? — есть на левой стороне картина... знаешь? — и там нарисована одна святая, и ну вот! Она похожа на икону!

— Правда? — поверил Саша.

— Нет, ты подумай, как это страшно: на икону!

Оба испугались. Мама, обыкновенная мама, такой живой человек, которого только сейчас нет дома, но вот-вот он придет, — и вдруг похожа на икону! Что же это значит? И вдруг она совсем и не придет: заблудится ночью, потеряет дом, пропадет в этом ужасном снегу и будет одна звать: — Саша! Линочка! Дети!..

— Куда ты, Саша?

— Встречать маму.

— Иди, иди! Какой ветер!

— Она сказала, что зайдет к Добровым.

— А калоши?

— Я без калош.

В прихожей не было огня, и в окно смотрела вечно чуждая людям, вечно страшная ночь.

— Где моя тужурка?

— Вот. Я держу. Иди, иди!

После этого страшного вечера, закончившегося, однако, совсем благополучно: Елена Петровна уже подъезжала к дому на извозчике и встретила Сашу у самой калитки, — связь между детьми и матерью как будто еще окрепла, а в обращении Саши появлялась особая мягкость, сдержанная нежность и какое-то своеобразное джентльменство. Словно в этот именно вечер, сознав себя взрослым, Саша по-мужски услуживал матери, провожал ее по вечерам и уже пробовал, насилуя свой рост, вести ее под руку. Но делал он это с таким достоинством, что не пришло в голову улыбнуться ни Линочке, ничего неестественного не заметившей, ни самой Елене Петровне. Ходил Саша тайно от Линочки и в церковь, где была картина, и нашел, что сестра права: какое-то сходство существовало; но он не долго думал над этим, порешив с прямолинейностью чистого ребенка: «Все матери святые». Но то, что всегда знала мать: боязнь утраты — почувствовал и Саша, узнал муку любви, томительность безысходного ожидания, всю крепость кровных уз... Ибо суждено ему было теми, кто жил до него, поднять на свои молодые плечи все человеческое, глубиной страдания осветить жестокую тьму. Только те жертвы принимают жизнь, что идут от сердца чистого и печального, плодотворно взрыхленного тяжелым плугом страдания.

Так жили они, трое, по виду спокойно и радостно, и сами верили в свою радость; к детям ходило много молодого народа, и все любили квартиру с ее красотой. Некоторые, кажется, только потому и ходили, что очень красиво — какие-то скучные, угреватые подростки, весь вечер молча сидевшие в углу. За это над ними подсмеивался и Саша, хотя в разговоре с матерью уверял, что это очень умные и в своем месте даже разговорчивые ребята.

— Чего же они тогда молчат? — негодовала Елена Петровна, имевшая, как и Линочка, среди гимназистов своих врагов и друзей.

— Не знаю, боятся, что ли! Ты не сердись на них, мама. Они говорят, что только у нас и видят настоящую жизнь.

— Врут! — определяла Линочка, — Тимохин даже танцевать не умеет, я ему предложила, а он смотрит на меня, как бык с рогами.

— Тимохин один у нас во всем классе сам учится английскому языку, почти уже выучился, — сказал Саша.

— Какой англичанин!

Но Елена Петровна уже примиряла:

— Конечно, это хорошо, но только как же он с произношением?... И совсем не надо всем танцевать, а ведь можно же спорить, как другие... Впрочем, не знаю, ты их лучше знаешь, Сашенька!

И в следующий раз усиленно любезничала с нелюбимцами, а те от этого крепче замолкали, и она снова негодовала и жаловалась. Но это были пустяки, а, в общем, все дети были так хороши, что хотелось только глядеть на них из уголка и радоваться. И тем особенно были они хороши, что не было ни одного лучше Саши: пусть и поют и поражают остроумием, а Саша молчит; а как только заспорят, сейчас же каждый тянет Сашу на свою сторону: ты согласен со мною, Погодин? И с кем Погодин согласился, тот считает спор оконченным и только фыркает — точно за Сашиным тихим голосом звучат еще тысячи незримых голосов и утверждают истину.

Но этому свойству Сашиного голоса удивлялась и не одна Елена Петровна; и только сам он, кажется, ничего не подозревал.

5. Сны

...Но откуда эта тайная тоска, когда все так хорошо и жизнь прекрасна! Не радуется ли утро дню и день вечеру? — и не всегда ли плывут облака, и не всегда ли светит солнце и плещется вода? Вдруг среди веселой игры, беспричинного смеха, живого движения светлых мыслей — тяжелый вздох, смертельная усталость души. Тело молодо и юношески крепко, а душа скорбит, душа устала, душа молит об отдыхе, еще не отведав работы. Чьим же трудом она потрудилась? Чьею усталостью она утомилась? Томительные зовы, нежные призывы звучат непрестанно; зовет глубина и ширь, открыла вещие глаза свои пустыня и молит: Саша! Линочка! Дети! Или спит Саша крепко, и этот ночной гул мощных деревьев навевает ему сны о вечной усталости, о вечной жизни и беспредельной широте?

Открывает глаза и видит в светлеющее окно: машут ветви, и это они гонят в комнату тьму, и от самой постели тьма и от самой постели Россия.

Но зачем так ярки сны? Видит Елена Петровна, будто ночью забеспокоилась она о Саше и в темноте, босая, пошла к нему в комнату и увидела, что смятая постель пуста и уже охолодала. Подогнулись ноги, села на постель и тихо позвала:

— Саша!

И откуда-то издалека Саша ответил:

— Мама!

Позвала еще:

— Иди сюда, ко мне... Саша!

Но уже не было ответа на этот зов.

Проснулась Елена Петровна и видит, что это был сон и что она у себя на постели, а в светлеющее окно машут ветви, нагоняют тьму. В беспокойстве, однако, поднялась и действительно пошла к Саше, но от двери уже услышала его тихое дыхание и вернулась. А во все окна, мимо которых она проходила, босая, машут ветви и словно нагоняют тьму! «Нет, в городе лучше», — подумала про свой дом Елена Петровна.

6. Трудное время

Но уже наступило страшное для матерей, пришло незаметно, стало тихо, оперлось крепко о землю своими чугунными ногами. Кто думает, отрывая ежедневно листки календаря, что время идет? Красная кровь уже хлынула с Востока на Россию, вернулась к родным местам, малыми потоками разлилась по полям и городам, оросила родную землю для жатвы гря-

душего. Было спокойно, и вдруг стало беспокойно; и кто из живущих мог бы назвать тот день, тот час, ту минуту, когда кончилось одно и наступило другое? Когда пришла кровь? Что было раньше, а что было позже? И было ли?

Когда это было, что Саша вернулся домой в четыре часа ночи и перепугал Елену Петровну своим видом — до убийства министра или после? И в этот ли именно раз напугал ее своим видом, или в другой, похожий, или совсем непохожий? Нет, в этот. Нет, в другой. Это было уже тогда, когда начались казни... а когда начались казни? До именин Линочки, когда пили почему-то шампанское, и Елена Петровна пила, и все пели, и было так весело, что и вспомнить трудно, — или после? Нет, конечно, раньше, тогда, когда к ним еще все ходили, и дети по вечерам бывали дома, и Саша вслух читал «Видение Валтасара»:

Падут твердыни Вавилона,
Неотразим судьбы удар...

Но дома ли читал Саша байроновские стихи или же на вечеринке? Да, кажется, на какой-то вечеринке или вообще в гостях; и ему еще много аплодировали.

А когда к ним перестали ходить, — когда был этот ужасный вечер, эта несчастная суббота, в которую никто не явился? Выскочивший из связи времен — как ярко помнится этот вечер со всеми его маленькими подробностями, вплоть до лампы, которая чуть-чуть не начала коптить.

Уже пробило девять, а никто не являлся, хотя обычно гимназисты собирались к восьми, а то и раньше, и Саша сидел в своей комнате, и Линочка... где была Линочка? — да где-то тут же. Уже и самовар подали во второй раз, и все за тем же пустым столом кипел он, когда Елена Петровна пошла в комнату к сыну и удивленно спросила:

— Что же это значит, Саша? Никого еще нет.

Саша положил брошюрку — да, это была брошюрка в красной обложке! — и как будто совсем равнодушно ответил:

— Они, вероятно, и не придут.

— Вероятно?

— Нет, наверное. Сегодня собрание у Тимохина.

— А почему же не у нас? Я ничего не понимаю... и ты меня даже не предупредил!

И вдруг у нее мелькнула тяжелая и обидная догадка, и сухо она спросила:

— Может быть, впрочем, я вам мешаю? Тогда мне все понятно. Но почему же ты не идешь к Тимохину? Иди, еще не поздно.

— Не огорчайся, мама. И не то, чтобы ты так уже мешала, это пустяки, но они говорят, что у нас слишком уж красиво.

— Нельзя окурки на пол бросать?

И Саша строго, — да, именно строго, — ответил:

— Да. Нельзя окурки на пол бросать.

— Тимохин же все равно бросает на пол!

Саша неприятно улыбнулся и, ничего не ответив, заложил руки в карманы и стал ходить по комнате, то пропадая в тени, то весь выходя на свет; и серая куртка была у него наверху расстегнута, открывая кусочек белой рубашки — вольность, которой раньше он не позволял себе даже один. Елена Петровна и сама понимала, что говорит глупости, но уж очень ей

обидно было за второй самовар; подобралась и, проведя рукой по гладким волосам, спокойно села на Сашин стул.

— Я говорю глупости, — сказала она и даже улыбнулась. — В чем же дело? Объясни мне, Саша!

— Ты не знаешь, я не умею говорить, но приблизительно так они, то есть я думаю. Это твоя красота, — он повел плечом в сторону тех комнат, — она очень хороша, и я очень уважаю в тебе эти стремления; да мне и самому прежде нравилось, но она хороша только пока, до настоящего дела, до настоящей жизни... Понимаешь? Теперь же она неприятна и даже мешает. Мне, конечно, ничего, я привык, а им трудно.

— Красота никогда не может помешать.

— Да, может быть, какая-нибудь другая красота и не помешает, но эта... Я не хочу тебя обидеть, мамочка, но мне все это кажется лишним, — ну вот зачем у меня на столе вот этот нож с необыкновенной ручкой, когда можно разрезать самым простым ножом. И даже удобнее: этот цепляется. Или эта твоя чистота — я уж давно хотел поговорить с тобою, это что-то ужасное, сколько она берет времени! Ты подумай...

Но Елена Петровна даже уж и не удивилась, когда в свою очередь попала и чистота; только смотрела, как краснеет у Саши лицо, и некстати подумала: «А начинают-таки виться волосы, я всегда ждала этого».

— Нет, ты только подумай! Проснувшись, я прежде всего чищу зубы, уже привык, не могу без этого...

— Зато у тебя прекрасные зубы и нет ни одного порченого!

— Когда-нибудь все равно вывалятся! Считай: три, а то и пять минут.

— Да зачем тебе так нужно время?

— Нет, погоди! Потом я занимаюсь гимнастикой — как же, привык! — вот тебе еще пятнадцать — двадцать минут. Потом я обмываюсь холодной водой и докрасна — непременно докрасна! — растираю свое благородное тело. Потом...

И выходило так по его словам, что весь день он только и делает, что чистит себя. Но тут пришла Линочка, и разговор пошел уже втроем, и Линочка тоже на что-то жаловалась, кажется, на свои таланты, которые отнимают у нее много времени.

— Да на что вам время? — все изумлялась Елена Петровна, а те двое говорили свое, а потом пошли вместе пить чай, и был очень веселый вечер втроем, так как Елена Петровна неожиданно для себя уступила красоту, а те ей немного пожертвовали чистотой. И то, что она так легко рассталась с красотой, о которой мечтала, которой служила, которую считала первым законом жизни, было, пожалуй, самое удивительное во весь этот веселый вечер. И в этот же вечер, а может быть, и в другой такой же веселый и легко разрушительный вечер, она позволила Линочке бросить зачем-то уроки рисования, не то музыки... Когда была брошена музыка?

Когда перестали дети ходить в церковь?

Когда было раньше, а когда было позже? Высказывают дни без связи, а порядок утерян — точно рассыпал кто-то интересную книгу по листам и страничкам, и то с конца читаешь, то с середины. Когда это было, что они с Сашей смотрели, как по базару гонят бородатых запасных и ревут бабы с детьми, и Елена Петровна плакала и куда-то рвалась, а Саша дергал ее за руку и говорил плачущим голосом: мамочка, не надо! Что не надо? Конечно, это было еще до манифеста, а вместе с тем совершенно рядом с этим днем, как продолжение его, высказывает вечер у того самого угреватого Тимохина, англичанина, жаркая комнатка, окурки на полу и подоконниках, и сама она не то в качестве почетной гостьи, не то татарина. Но одно

несомненно, что времени между этими двумя случаями не меньше двух, или даже трех лет, а вспоминается и чувствуется рядом.

Вообще, когда она стала ходить, как девочка, по митингам и собраниям, и ее любезно проводили в первые ряды? Даже в газету раз попала, и репортер придавал ее появлению на митинге очень большое значение, одобрял ее и называл «генеральша Н.». Тогда же по поводу заметки очень смеялись над нею дети.

Однажды звал к себе директор гимназии и заявил, что Саша исключен за какие-то беспорядки, а потом оказалось, что Саша не исключен и оставался в гимназии до самого своего добровольного ухода, — когда это было? Или это не директор звал, а начальница женской гимназии, и речь шла о Линочке, — во всяком случае, и к начальнице она ездила объясняться, это она помнила наверное.

И когда в ихнем городе появились на улицах казаки? И когда произошел первый террористический акт: был убит жандармский ротмистр? Нет, еще раньше был убит городской, а еще, кажется, раньше околоточный надзиратель, и на торжественных похоронах его черная сотня избила на полусмерть двух гимназистов, и Елена Петровна думала, что один из изувеченных — Саша. И когда она начала бояться этой черной сотни — до ужаса, до неистовых ночных кошмаров?

Когда приделан железный засов к двери?

7. Отец

Но вот это, к сожалению, Елена Петровна помнит ясно, знает даже день: четвертое декабря, за шесть месяцев до ухода Саши.

Утром за чаем — они еще пили чай! — Саша прочел в газете фамилию нового губернатора, который только недавно к ним был назначен и уже повесил трех человек, и Елене Петровне вдруг что-то вспомнилось:

— Телепнев... Телепнев... Постой, Саша, я что-то припоминаю. Ну-ка, а как инициалы? П. С.? Ну да: Петр Семенович, папин товарищ! Ты подумай, Сашенька, этот Телепнев, наш губернатор, был лучший папин товарищ, вместе учились...

— Да?

— Да как же! А я и забыла — стареется твоя мать, Саша. Как же это я забыла: ведь друзья были!

Задумчиво, с тем выражением, которое бывает у припоминающих далекое, она смотрит на Сашу, но Саша молчит и читает газету. Обе руки его на газете, и в одной руке папироса, которую он медленными и редкими движениями подносит ко рту, как настоящий взрослый человек, который курит. Но плохо еще умеет он курить: пепла не стряхивает и газету и скатерть около руки засыпал... или задумался и не замечает?

Осторожным движением, чтобы не помешать, Елена Петровна пододвигает пепельницу и, забыв о Телепневе, вдруг поражается тем, что Саша задумался, как поражается всем, что свидетельствует об его особой от нее, самостоятельной, человеческой, взрослой жизни. Иногда это смешит ее самое: вдруг поразится, что Саша читает, или что он, как мужчина, поднял одной рукой тяжелое кресло и переставил, или что он подойдет к плевательнице в углу и плюнет, или что к нему обращаются с отчеством: Александр Николаевич, и он отвечает, нисколько не удивляясь, потому что и сам считает себя Александром Николаевичем.

Александр Николаевич!..

Но теперь к обычному удивлению матери, не могущей привыкнуть к отделению и самостоятельности ее плода, примешивается нечто новое, очень интересное и важное: как будто до сих пор она рассматривала его по частям, а теперь увидела сразу всего: Боже ты мой, да он ли это, — где же прежний Саша?

Этому скоро исполнится девятнадцать лет, он высок, — это видно, даже когда он сидит, — правда, немного худ и юношески узковата грудь, но смуглое лицо крепко и свежо; и в четко и красиво изогнутых губах, твердом подбородке чувствуется сила и даже властность: эка, даже властность! Все так же жутко обведены глаза и даже на газету опущенные смотрят строго, но как это непохоже на прежнюю усталость взгляда, где-то в себе самом черпавшего вечную тревогу! Как будто давно не видала Саши: напоминает Елена Петровна его теперешний взгляд — да, этот смотрит смело и красиво, и разве только чуть-чуть тяжело, когда надолго остановится, забудет перевести глаза.

И как приятно, что нет усов и не скоро будут: так противны мальчишки с усами, вроде того гимназиста, кажется, Кузьмичева, Сашиного товарища, который ростом всего в аршин, а усы как у французского капрала! Пусть бы и всегда не было усов, а только эта жаркая смуглота над губами, чуть-чуть погуще, чем на остальном лице.

«Не надо говорить ему, что он красив», — думает Елена Петровна и поспешно опускает глаза. Недолгое молчание — и точно силою заставляет их вновь подняться холодный и хмурый вопрос:

— А он у нас и в доме бывал?

Елена Петровна уже догадывается о значении вопроса, и сердце у нее падает; но оттого, что сердце пало, строгое лицо становится еще строже и спокойнее, и в темных, почти без блеска, обведенных византийских глазах появляется выражение гордости. Она спокойно проводит рукой по гладким волосам и говорит коротко, без той бабьей чистосердечной болтливости, с которой только что разговаривала:

— Да, бывал. Он часто бывал у папы.

— И вы были ему рады?

— Генерал любил его. Хочешь еще чаю?

— Спасибо, — говорит Саша и еще раз повторяет: — Спасибо! Ну, а скажи, как ты думаешь, ты хорошо знала генерала... — Губы Саши кричат в веселую, не к случаю, улыбку. — Ведь наш генерал-то был бы теперь, пожалуй, губернатором и тоже бы вешал... Как ты думаешь, мама?

Прошел длинный, мучительный день, а ночью Елена Петровна пришла в кофточке к Саше, разбудила его и рассказала все о своей жизни с генералом — о первом материнстве своем, о горькой обиде, о слезах своих и муке женского бессильного и гордого одиночества, доселе никем еще не разделенного. При первых же ее серьезных словах Саша быстро сел на постели, послушал еще минуту и решительно и ласково сказал:

— Выйди, мамочка, на минуту, я сейчас оденусь.

И помнит же она эти несколько минут! За дверью, в щель которой вдруг пробилась острая полоска света, — скрипела постель, стукнула уроненная ботинка, звякала чашка умывальника: видно было, что Саша торопливо и быстро одевается; а она, готовясь и ожидая, тихо скользила по темной комнате и беззвучно шептала, заламывая руки: «Пойми меня, Саша! Пойми меня, Саша!» И все ходила и сама не слышала себя, серая в темноте, бесшумная, плененная, — как насмерть испуганная ночная птица.

— Нет, нет! Бога ради, потуши свечку! — взмолилась она, тихо позванная Сашей; и вначале все путала, плакала, пила воду, расплескивая ее в темноте, а когда Саша опять зажег-таки свечу, Елена Петровна подобралась, пригладила волосы и совсем хорошо, твердо, ничего не пропуская, по порядку рассказала сыну все то, чего он до сих пор не знал. И когда Саша, слушавший очень внимательно, подошел к ней в середине рассказа и горячей рукой несколько раз быстро и решительно провел по гладким, еще черным волосам, она сделала вид, что не понимает этой ласки, для которой еще не наступило время, отстранила руку и, улыбнувшись, спросила: «Что, растрепалась?» И сделала вид, будто сама поправляет не нуждающиеся в этом волосы. Но, кончив рассказ, перед страшным выводом из него: что до сих пор она не простила мужа и не может простить, — запнулась, глотнула воздух и выжидательно, в страхе, замолчала.

Молчал и Саша, обдумывая. Поразил его рассказ матери; и то, что мать, всегда так строго и даже чопорно одетая, была теперь в беленькой, скромной ночной кофточке, придавало рассказу особый смысл и значительность — о самой настоящей жизни шло дело. Провел рукой по волосам, расправляя мысли, и сказал:

— Ну что ж, мамочка: так, так так! И не скажу даже, чтобы все это очень меня удивило, что-то такое я чувствовал уже давно. Да, генерал... Лине, пожалуй, пока не говори, потом как-нибудь расскажешь.

— Хорошо. Саша, Сашенька... Ну, а как же отец?

— Генерал? Генерал умер.

— Не называй его так.

— Это правда. Отец? Отец, да... Ты боишься сказать, что не простила его, не можешь простить?

Елена Петровна утвердительно кивнула головой; и в висках стукнули набегающие слезы.

— Я люблю его.

— А простить — нет?

Елена Петровна мотнула головой: нет! Набегали горячие слезы, и она не мигала, не мешала глазам наливать, пока не наполнились они; и уже перелилось, потекло по щеке, зашекотало — и точно просветлела комната, оделась искристым туманом и трогательно заколыхалась. Саша что-то говорил, мелькал в тумане.

Плохо доходили до сознания слова, да и не нужны они были: другого искало измученное сердце — того, что в голосе, а не в словах, в поцелуе, а не в решениях и выводах. И, придавая слову «поцелуй» огромное во всю жизнь значение, смысл и страшный и испугительный, она спросила твердым, как ей казалось, голосом, таким, как нужно:

— Можно поцеловать тебя, Сашенька?

И в ожидании, полном страха, закрыла мокрые от слез глаза. Что было потом?

То, о чем надо всегда плакать, вспоминая. Царь, награждающий царствами и думающий, что он только улыбнулся; блаженное существо, светлейший властелин, думающий, что он только поцеловал, а вместо того дающий бессмертную радость, — о, глупый Саша! Каждый день готова я терпеть муки рождения, чтобы только видеть, как ты вот ходишь и говоришь что-то невыносимо-серьезное, а я не слушаю! Не слушаю!

— Говори, говори, Сашечка!

— Да ты не слушаешь, мама? Я тебя спрашиваю, а ты...

— Говори, говори, Сашечка!

Ну и пусть довел до комнаты, как пьяную: да и пьяна же я материнской радостью моею!

Вот еще чего не знала о той ночи Елена Петровна.

Когда мать уснула, Саша вернулся в комнату и разделся, чтобы спать, но не мог забыться даже на минуту и все курил и думал. Ему казалось, что он теперь разгадал что-то в своей судьбе, но он никак не мог точно и ясно определить угаданное и только твердил: «Ну, конечно, ну, конечно, так! Теперь все ясно». И образ покойного отца, точно с умислом во всей неприкосновенности сбереженный памятью до этого дня, впервые предстал его сознанию и поразил его своею как бы чуждостью, а вместе чем-то и своим. Увидел ясно в каждом волоске его четырехугольную широкую бороду и плешину среди русых и мягких волос, крутые, туго обтянутые плечи; почувствовал жесткое прикосновение погона, не то ласковое, не то угрожающее — и вдруг только теперь осознал ту тяжесть, что, начинаясь от детства, всю жизнь давила его мысли.

Да, это он, отец — этот важный, порою ласковый, порою холодно-угрюмый, мрачно-свирепый человек, занимающий так много места на земле, называемый «генерал Погодин» и имеющий высокую грудь, всю в орденах. И такие же высокие в орденах груди у его друзей или подчиненных: кланяются, звякая шпорами, блестят золотом шитья, точно поднимают потолки в комнатах и раздвигают стены, — в мрачном великолепии и важности застыла холодная пустота. Гулки, как во сне, шаги отца: за много комнат слышно, как он идет, приближается, грузно давит скользкий, сухо поскрипывающий паркет; далеко слышен и голос его — громкий без натуги, сипловатый от воды, бухающий бас: будто не слова, а кирпичи роняет на землю.

Это отец, да.

А у денщика Тимошки рожа испитая и часто в синяках; и такие же рожи у других, постоянно меняющихся денщиков — почему рожи, а не лица? Нет, это нельзя назвать лицом, и это не слезы — то, что с любовью и странным удовольствием размазывает Тимошка по скуластым щекам своим. И память ли обманывает, или так это и было: однажды сам Саша своим тогдашним маленьким кулаком ударил Тимошку по лицу, и что-то страшно любопытное, теперь забытое, было в этом ударе и ожидании: что будет потом? А старый облезлый кот, повешенный денщиками за сараем? А лошадь, которая боится отца, и косит на него глазом, и широко расставляет ноги, как раздавленная, когда отец, пошатнув ее, становится в стремя, а потом грузно опускается в седло? Сильна мать, что так долго боролась с отцом и победила его, но почему же и она и дети замолкают, когда издали слышатся гульки приближающиеся шаги и вдруг, точно от предчувствия идущей тяжести, тихонохо скрипнет паркет в этой комнате? И этот жест Елены Петровны: торопливое и ненужное приглаживание волос, начался как раз оттуда, от этих минут ожидания, когда уже заранее поскрипывал паркет.

И она сказала, что любит его — не прощает и любит. И это возможно? И как, какими словами назвать то чувство к отцу, которое сейчас испытывает сын его, Саша Погодин, — любовь? — ненависть и гнев? — запоздалая жажда мести и восстания и кровавого бунта? Ах, если бы теперь встретиться с ним... не может ли Телепнев заменить его, ведь они друзьями были!

Однажды на смотру, на каком-то маленьком, не особенно важном смотре был и Саша с матерью, и генерал, бывший на лошади, посадил Сашу к себе. И когда оторвался он от земли чьими-то руками, а потом увидел перед самыми глазами толстую, вздрагивающую, подвижную шею лошади, а позади себя почувствовал знакомую тяжесть, услышал хриплое ды-

хание, поскрипывание ремней и твердого сукна — ему стало так страшно обоих, и отца и лошади, что он закричал и забился. И чем крепче сжимала его рука невидимого человека, тем сильнее он бился, и кто-то снял его. На земле он сразу перестал плакать и увидел выпуклые, серые, орлиные, теперь яростные глаза отца, который, низко свесившись с лошади, кричал на него:

— Трус-мальчишка! Дрянь! Стыдно! Трус-мальчишка!

А тяжелая, как отец, страшная лошадь топталась обросшими волосатыми ногами, косила глазом и тоже фыркала: трус-мальчишка, трус!

«Это ему было стыдно за меня перед солдатами! — думал Саша, стискивая зубы. — Нет, ваше превосходительство, я не трус, я нечто другое, ваше превосходительство, и вы это узнаете! Ваша кровь в моих жилах, и рука моя, пожалуй, не менее тяжела, чем ваша, и вы узнаете... Впрочем, спокойной ночи, ваше превосходительство!»

Потом Саша думал, уже засыпая:

«Можно отречься от отца? Глупо: кто же я тогда буду, если отрекусь! — ведь я же русский. А в гимназию-то я не пошел, хоть и русский. Вообще русским свойственно... что свойственно русским? Ах, Боже мой — да что же русским свойственно? Встаньте, Погодин!»

И, уже совсем засыпая, Саша увидел призрачно и смутно: как он, Саша, отрывается от отца. Много народу в церкви, нарочно собрались, и священник в черных великопостных одеждах, и Саша стоит на коленях и говорит: «...Не лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя...»

Хор запел: — Аминь!

И так страшен был его рев, что Саша очнулся и увидел, что за окнами уже светло, а во рту у него потухшая папироса. Вынул папиросу и крепко, без сновидений, уснул.

8. Бесталанные

Это было в марте, в воскресенье.

Был уже двенадцатый час, когда некто Колесников подходил к дому, где жили Погодины. «Ну и улица!» — думал он, прыгая из одного сухого протоптанного гнезда в другое и подолгу отыскивая камни, брошенные добрыми людьми для перехода и неуловимо темневшие среди нестерпимого блеска воды, жидкой грязи и островков искристого снега. Шел он против солнца, и каждая лужица, каждая налитая колея горела, как окающая. «Ну и дом!» — подумал он огорченно, когда в отворенную калитку вместо двора увидел целое озеро весенней воды; и в этом озере, как в настоящем, отражались деревья, белый низенький домик и крыльцо. На крыльце стояла барышня, глядела на Колесникова и тоже отражалась в воде. «Вот и барышня стоит и смотрит — как неловко! А Погодина-то, может быть, и дома нет, ну да уж все равно пропадать».

— Что же вы стоите? — крикнула барышня. — Вы к Саше? Идите налево около забора, там дорожка. Да левее же, еще, да еще же!

Покорно забирая влево, Колесников увидел, что на крыльцо вышла худая, красивая, немолодая барыня и тоже смотрит на него, и так было неловко от одной барышни, а тут еще и эта. Но все-таки дошел и даже поклонился, а то все боялся, что забудет.

— Погодин, гимназист, здесь живет?

— Здесь, я его мать. Вы к Саше по делу? Он сейчас только встал, пьет чай.

— Нет, почему же по делу? Я его знакомый, Колесников.

— Знакомый? Очень рада. Пожалуйста!

Слова были любезные, а в голосе открыто звучало недоверие и тревога, и глаза слишком разглядывали. «Ну что ж я поделаю, — покорно подумал Колесников, уже привыкший слышать эту тревогу в голосе всех матерей, — я ничего поделать не могу: тревожиться, ну и тревожись». А Елена Петровна рассматривала его и думала: «Вот и еще знакомый!.. Разве такие знакомые бывают. И калоши текут, и борода, как у разбойника, только детей пугать; а если его обрить, то, пожалуй, и добряк, — только он сам никогда об этом не догадается. Ох, Господи, все они добряки, а мне от этого не легче!»

— Мама! — сказала Линочка, зная мысли матери и не одобрявшая их. — Надо же показать, куда идти. Сюда идите... Саша, к тебе знакомый.

Но и Саша как будто удивился при виде черной бороды, желтых скул и шершавой вихрастой головы, и даже слегка нахмурился: заметно было, что видит он Колесникова чуть ли не в первый раз. Однако было в круглых, черных, также как будто удивленных глазах посетителя что-то примиряющее с ним, давно и хорошо знакомое: только взглянул, а словно всю жизнь свою рассказал и ждет вечной дружбы.

— У вас тут, того-этого, совсем Венеция, — сказал Колесников глухим басом и, поискав лица, с улыбкой остановил круглые глаза на Линочке, — только гондолы-то у меня текут, вон как, того-этого, наследил!

Линочка с упреком взглянула на мать: видишь, какой он! — и ответила:

— Мы с Сашей, когда были маленькие, каждую весну плавали ко двору на плотах.

— Пойдемте ко мне, — сказал Саша, вставая.

Елена Петровна с жалостью к Саше взглянула на недооженный хлеб и сурово промолвила:

— Ты лучше, Саша, чай бы допил. Я и гостю налью.

— Нет, не хочу. Или дай к нам в комнату два стакана.

После столовой в комнате у Саши можно было ослепнуть от солнца. На столе прозрачно светлела хрустальная чернильница и бросала на стену два радужных зайчика; и удивительно было, что свет так силен, а в комнате тихо, и за окном тихо, и голые ветви висят неподвижно. Колесников заморгал и сказал с какой-то особой, ему понятной значительностью:

— Весна!

Саша спокойно молчал; и молча передвинул в тень чернильницу, и зайчики погасли.

— Ваша мама меня боится, а сестра нет, — сказал Колесников и снова со вздохом повторил, — весна!

— Мы с вами где-нибудь встречались? Я что-то плохо помню.

— Как же, разок встретились. Только там, того-этого, были другие не знакомые вам люди, и вы меня не заметили. А я заметил хорошо. Жалко вот, что мамаша ваша меня боится, да чего ж поделаешь! Теперь не такое время, чтобы разбирать.

Саша слегка покраснел:

— Где же это было? Я не помню.

— Там! — ответил Колесников, придвигая стакан чаю. — Вы, того-этого, предложили убить нашего Телепнева, а наши-то взяли и отказались. Я тогда же из комитета и вышел: «Ну вас, говорю, к черту, дураки! Как же

так не разобрать, какой человек может, говорю, а какой не может?» Только они это ввали, они просто струсили.

Лицо Саши потемнело:

— Мне неприятно об этом вспоминать. Но я очень рад, что вы ко мне пришли, теперь я вас помню. Пейте, пожалуйста, чай.

— Меня зовут Василий Васильевич, — сказал Колесников, — я уж два раза, если вам интересно, из ссылки бегал. Только вот беда, того-этого, не оратор я, и талантов у меня нет никаких.

— У меня тоже нет талантов, — сказал Саша и впервые с улыбкой поднял на Колесникова свои жуткие, но теперь улыбающиеся глаза.

И как с первого раза знакомился своими глазами Колесников, так своими с первого раза и навсегда убеждал Погодин; так и теперь сразу и навсегда убедил он только что пришедшего в чем-то радостном и необыкновенно важном. Заерзав на стуле, Колесников в широкой улыбке открыл черные, но крепкие зубы и пробасил:

— Вот удивили вы меня! А чьи ж это картинки на стене? Неужто не ваши?

— Нет, сестры.

— Сестры? Молодец сестра!

Но сразу же нахмурился и с искренним огорчением произнес:

— Экое горе, того-этого, какие мы с вами бесталанные! Только вы, я думаю, ошибаетесь, нельзя этого допустить, чтобы у вас не было таланта. Может, не обнаружился еще? Это часто бывает с молодыми людьми. Таланты-то ведь бывают разные, того-этого, не только что карандашиком или пером водить.

— Никакого. Я и говорить не умею.

— Вот удивляете вы меня! Но погодите, еще откроется! Да, того-этого, еще откроется!

Колесников вдруг заволновался и заходил по комнате; и так как ноги у него были длинные, а комната маленькая, то мог он делать всего четыре шага. Но это не смущало его, видимо, привык человек вертеться в маленьком помещении.

— Боже ты мой! — гудел он взволнованно и мрачно, подавляя Сашу и несуразной фигурой своей, истово шагающей на четырех шагах, и выражением какого-то доподлинного давнишнего горя. — Боже ты мой, да как же могу я этому поверить! Что не рисует да языком не треплет, так у него и талантов нет. Того-этого, — вздор, милостивый государь, преподлейший вздор! Талант у него в каждой черте выражен, даже смотреть больно, а он: «Нет, это сестра! Нет, мамаша!» Ну и мамаша, ну и сестра, ну и вздор, преподлейший вздор!

Саше уже тяжело становилось, когда Колесников внезапно стих, сделал еще два оборота по комнате и сел, сказав совершенно спокойно:

— Чай-то уж остыл. И ни разу это у меня не бывало, чтобы я попал на настоящий чай: то горяч, а то уж и остыл.

— Давайте стакан, я принесу горячего.

— Чего там, и этот хорош, это я так, к слову. Вот что, товарищ, денек-то сегодня славный! Пойдемте за кирпичные сараи пострелять из браунинга. Я и браунинг принес.

— У меня свой есть, — сказал Саша и вынул из стола никелированный, чистенький, уже заряженный револьвер.

У Колесникова браунинг оказался черный, и оба долго и с интересом разглядывали оружие, и Колесников вздохнул.

— Да! — сказал он со вздохом, — времена крутые. У меня знакомая одна была, хорошо из браунинга стреляла, да не в прок ей пошло. Лучше б никогда и в руки не брала.

— Повешена?

— Нет, так. Зарубили. Ну, того-этого, идем, Погодин. Вы небось по голосу думаете, что я петь умею? И петь я не умею, хотя в молодости дурак один меня учил, думал, дурак, что сокровище открыл! В хоре-то, пожалуй, подтягивать могу, да в хоре и лягушка поет.

Овраги и овражки были полны водою, и до кирпичных сараев едва добрались; и особенно трудно было Колесникову: он раза два терял калоши, промочил ноги, и его серые, не новые брюки до самых колен темнели от воды и грязи.

— Славные у вас сапоги! — сказал он Саше и сам себя спросил: — Отчего я и себе, того-этого, таких не куплю? Не знаю.

Простором и тишиною встретило их поле; весенним теплом дымилась голубая даль, воздушно млели в млечной синеве далекие леса. В безветрии начавшийся, крепко стоял погожий день, обещая ясный вечер и звездную, с морозцем, ночь. Было так празднично все, что и стрельба из револьверов казалась праздничной, веселой забавой, невинным удовольствием. Для цели Саша выломал в гнилой крыше заброшенного сарая неширокую, уже высохшую доску и наклеил кусочек белой бумаги; и сперва стреляли на двадцать пять шагов. Из трех пуль Колесников всадил две, одну возле самой бумажки, и был очень доволен.

— Не всякий может, — сказал он внушительно; и, расставив длинные ноги и раскрыв от удовольствия рот, критически уставился на Сашу. И с легким опасением заметил, что тот немного побледнел и как-то медленно переложил револьвер из левой руки в правую: точно лип к руке холодный и тяжелый, сверкнувший под солнцем браунинг: «Волнуется» юноша, — думает, что в Телепнева стреляет. Но руку держит хорошо».

Однако все три пули всадил побледневший Саша, и две из них в самый центр. Колесников загудел от удовольствия, а он, все еще бледный, но, видимо, чрезвычайно довольный, переложил липнувший револьвер в левую руку и сказал:

— Да, я хорошо стреляю. Попробуем на сорок шагов?

— Попробуйте вы. Я, того-этого, и патронов тратить не хочу.

Все же, когда цель перенесли, сделал один выстрел и промазал, а Саша и в этот раз попал — две пули, одна возле другой.

— И это не талант? — воодушевился Колесников, — подите вы, Погодин, к черту! Да с этим талантом, того-этого, целый роман написать можно.

— А они вот отказались, — сухо промолвил Саша, намекая на комитет. — Посидим, Василий Васильевич, здесь очень хорошо!

Выбрали сухое местечко, желтую прошлогоднюю траву, разостлали пальто и сели; и долго сидели молча, парясь на солнце, лаская глазами тихую даль, слушая звон невидимых ручьев. Саша курил.

— Ручьи текут, а мне, того-этого, кажется, будто это слезы народные, — сказал Колесников наставительно и вздохнул.

И Саше, ждавшему ответа относительно Телепнева, не понравились и наставительность эта, и напыщенность фразы, и самый вздох. Молчал и, уже скучая, ждал, что скажет дальше. Вдруг Колесников засмеялся:

— Смотрю на вас, Александр Николаевич, и все удивляюсь, какой вы, того-этого, корректный! Не знай я вас так хорошо, так хоть домой иди, ей-Богу!

— А откуда ж вы меня так хорошо знаете?

— Не знал бы, так и не пришел бы, — уже серьезно сказал Колесников. — Но вот что вы мне скажите: почему вы избрали Телепнева? Не такая уж он птица, чтобы из-за него вешаться. Так и у нас говорили... в вас-то они не очень уж сомневались.

Саша вдруг смутился.

— Телепнева? — нерешительно переспросил он. — Я думаю, основания ясны. Впрочем... у меня были и свои соображения. Да, свои соображения, личные...

И, уже забыв о Колесникове, он сразу всей мыслью отдался тому странному, тяжелому и, казалось, совсем ненужному, что давило его последние месяцы: размышлению об отце-генерале. Тогда, после разговора с матерью, он порешил, что именно теперь, узнав все, он по-настоящему похоронил отца; и так оно и было в первые дни. Но прошло еще время, и вдруг оказалось, что уже давно и крепко и до нестерпимости властно его душою владеет покойный отец, и чем дальше, тем крепче; и то, что казалось смертью, явилось душе и памяти, как чудесное воскресение, начало новой таинственной жизни. Все забытое — вспомнилось; все разбросанное по закоулкам памяти, рассеянное в годах — собралось в единый образ, подавляющий громадностью и важностью своею. И теперь, в смутном сквозь грезу видении обнаженного поля, в волнистости озаренных холмов, вблизи таких простых и ясных, а дальше к горизонту смыкавшихся в вечную неразгаданность дали, в млечной синеве поджидающего леса, — ему почудились знакомые теперь и властные черты. И как было все это время: острая, как нож, ненависть столкнулась с чем-то невыносимо похожим на любовь, вспыхнул свет сокровеннейшего понимания, загорелись и побежали вдале кроваво-праздничные огни. Вдруг, не поднимая глаз, Саша спросил Колесникова:

— Вы русский?

Колесников, взглядывавший Сашу с таким вниманием, что оно было бы оскорбительно, замечай его Саша, не сразу ответил:

— Русский. Не в этом важность, того-этого.

— У меня мать гречанка.

— Что ж!.. И это хорошо.

— Почему хорошо?

— Хорошая кровь. Кровь, того-этого, многих мучеников.

Саша ласково взглянул в его черные глаза и подумал:

«Вот же чудак, при таком лице носит велосипедную фуражку. Но милый». Вслух же сказал:

— Байрон умер за свободу греков.

— Ну и вздор! Кто, того-этого, нуждается в свободе, тому незачем ходить в чужие края. И где это, скажите, так много своей свободы, что уж больше не надо? И вообще, того-этого, мне совсем не нравится, что вы сказали про Телепнева, про какие-то личные ваши соображения. Личные! — преподлейший вздор.

Колесников взволнованно заходил и, хотя места было много, по-прежнему кружился на своих четырех шагах; и при каждом шаге громко, видимо, раздражая его, хлопали калоши.

— Вот я, видите? — гудел он в высоте, как телеграфный столб. — Весь тут. Никто меня, того-этого, не обидел, и жены моей не обидел — нет же у меня жены! И невесты не обидел, и нет у меня ничего личного. У меня на руке, вот на этой, того-этого, кровь есть, так мог бы я ее пролить, имей я личное? Вздор! От одной совести сдох бы, того-этого, от одних угрызений.

Быстро подошел к Саше и, наклонившись, с высоты, сердито замахал на него пальцем:

— Эй, юноша, того-этого, не баламуть! Раз имеешь личное, то живи по закону, а недоволен, так жди нового! Убийство, скажу тебе по опыту, дело страшное, и только тот имеет на него право, у кого нет личного. Только тот, того-этого, и выдержать его может. Ежели ты не чист, как агнец, так отступись, юноша! По человечеству, того-этого, прошу!

Уже иступленное что-то загоралось в его остановившихся глазах; и вдруг Колесников закричал полным голосом, как в бреду:

— Хочешь, на колени стану? Хочешь, мальчишка, на колени стану? Отступись!

— Нет! — сказал Саша, быстро вставая и рукой отстранив Колесникова, бледный и строгий. — Вы напрасно кричите, вы меня не поняли. У меня не было и нет личного ничего. Слышите вы, ничего!

Колесников угрюмо извинился:

— Извините, Погодин. Такие времена, что, того и гляди, в сумасшедший дом попадешь, того-этого.

Но уже через десять минут, когда они возвращались домой, Колесников весело шутил по поводу своих гондол; и слово за словом, среди шуток и скачков через лужи, рассказал свою мытарственную жизнь в ее «паспортной части», как он выражался. По образованию ветеринар, был он и статистиком, служил на железной дороге, полгода редактировал какой-то журнальчик, за который издатель и до сих пор сидит в тюрьме. И теперь он служит в местном железнодорожном управлении.

— А кто был ваш отец? — спросил Саша.

— Отец-то? Вопрос не легкий. Род наш, Колесниковых, знаменитый и древний, по одной дороге с Рюриком идет, и в гербе у нас колесо и лапоть, того-этого. Но, по историческому недоразумению, дедушка с бабушкой наши были крепостными, а отец в городе лавку и трактир открыл, блеск рода, того-этого, восстанавливает. И герб у нас теперь такой: на зеленом миллиардном поле наклоненная бутылка с девизом: «Свидания друзей»...

— Он жив?

— Опасаюсь. И ежели не сдох, так в союзе председателем, — человек он честолюбивый и глубокомысленный. Он меня, того-этого, потому и в ветеринары отдал, что скота всегда лучше чувствовал, нежели человека. Ну, и братья у меня — тоже, того-этого, сволочь удивительная!

— Зачем вы так говорите! — поежился Саша.

— А что — густо? Из песни, того-этого, слова не выкинешь. Да они ж меня давно и похоронили: по некоему приговору, к счастью для моей шеи — не совершившемуся, меня давно уж повесили, — добродушно заключил Колесников.

Сбивал он Сашу своими переходами от волнения к покою, от грубости, даже как будто цинизма, к мягкому добродушию, чуть ли не ребячьей наивности; и — что редко бывало с внимательным Сашей — не мог он твердо определить свое отношение к новому знакомцу: то чуть ли не противен, а то нравится, вызывает в сердце что-то теплое, пожалуй, немного грустное, напоминает кого-то милого. Трогало и то, что после своей странной, почти болезненной вспышки Колесников смирился и не только как равный с равным говорил с Сашей, хотя на целых двадцать лет был старше, но даже как будто преклонялся, каждое слово слушал с необыкновенным вниманием и чуть ли не с почтительностью.

Проводил он Сашу до самого дома и уже у калитки — точно именно у порога дома, когда люди расстаются и уходят к своим мыслям, и нужно было бросить этот мостик — посмотрел Саше в глаза и спросил:

— Газету читали?

— Нет, не успел.

— Шестнадцать повешено. Ну, до свиданья, Погодин. А стреляете-то вы чудесно, мне от вашего таланта, того-этого, даже жутко стало; не наследственное это у вас?

Саша опять было нахмурился, но увидел открытые, наивные глаза, с любопытством глядевшие на него, и засмеялся:

— Нет, не думаю. Я мало что наследовал от отца. Впрочем... я его не помню, он умер восемь лет назад. Прощайте.

Так состоялось их знакомство. И, глядя вслед удалявшемуся Колесникову, менее всего думал и ожидал Саша, что вот этот чужой человек, озабоченно попрыгивающий через лужи, вытеснит из его жизни и сестру и мать, и самого его поставит на грань нечеловеческого ужаса. И, глядя на тихое весеннее небо, голубевшее в лужах и стеклах домов, менее всего думал он о судьбе, пришедшей к нему, и о том, что будущей весны ему уж не видать.

9. Весна

Во весь этот день Саша был чрезвычайно весел; после обеда взял газету, уже прочитанную домашними, но взглянул на заголовок, поймал глазами слово «шестнадцать»... и отложил в сторону: не надо почему-то читать, не следует. А вечером, когда высыпали звезды и зазвенел под ногами ледок, взял Линочку под руку и пошел на Банную гору, откуда днем открывался широкий вид на разлившуюся реку. И дорогой ломал такого дурака, что Линочка хохотала, как от щекотки: представлял, как ходит разбитый параличом генерал, делал вид, что Линочка — барышня, любящая танцы, а он — ее безумный поклонник, прижимал руки к сердцу и говорил высокопарные глупости. Брат и сестра, они невинно и смешно играли в любовь, не подозревая в себе актеров, которые шутя готовятся к завтрашнему трагическому спектаклю, не зная, сколько правды в их веселой игре.

Совсем развеселился Саша: изображая крайности безумного, не помнящего себя влюбленного, он раскачивал ее по всей панели, и уже раза два на них оглянулись прохожие, не то с улыбкой, не то сердито; и Линочка захлебывалась бессильным смехом:

— Да родной же мой Сашечка! Ой, не могу!.. Ой, колики!

— А-а-а, толстая! — рычал он от зверской любви. — Полюбишь ты меня или нет? Сознавайся, пресловутая!

— Сашка, оставь... ой, упаду!

И кончилось тем, что столкнул ее в незамерзшую лужу, и Линочка промочила правую ногу и минуты на две серьезно рассердилась. Но тотчас же и отошла, вскинула глаза к звездам и сказала:

— Держи меня крепче, Саша: я так буду идти.

Казалось, что бледные звезды плывут ей навстречу, и воздух, которым она дышит глубоко, идет к ней из тех синих, прозрачно-тающих глубин, где бесконечность переходит в сияющий праздник бессмертия; и уже начинала кружиться голова. Линочка опустила голову, скользнув глазами по желтому уличному фонарю, ласково покосилась на Сашу и со вздохом промолвила:

— Ах, Сашечка, если б ты всегда был такой!

— А что? Ухаживателей не хватает?

Линочка кротко ответила:

— Ты говоришь глупости. Про тебя вчера Женя Эгмонт опять спрашивала.

Саша в темноте покраснел и сердито сказал:

— Я уже просил тебя про Эгмонт мне не передавать.

— Я знаю. Я и говорю: если бы ты всегда был такой, как сегодня. Тебе скоро девятнадцать лет, Сашенька.

— Это мамыны слова?

— А если и мамыны? — упрямо сказала сестра. — Мама знает, что говорит.

— Ну и я знаю! Вот что, Лина: бросим-ка это, я не хочу сегодня ссориться.

Как-то так случилось, что за последнее время они несколько раз серьезно поссорились, и каждый раз настоящая причина оставалась неизвестна, хотя начинался разговор с Сашиного характера: с упреков, что в чем-то он изменился, стал не такой, как прежде. А он ясно сознавал, что перемена не в нем, а именно в Линочке, которую потянуло в сторону от прежнего пути. Какие-то разговоры о пустяках; с месяц назад Линочка вдруг яростно схватилась за рисование, которое давно бросила, и все жаловалась, даже плакала, что отвыкшая рука не слушается ее. И не с одной Линочкой он начал ссориться: то же было и в гимназии, и так же неясна оставалась настоящая причина, — по виду все было, как и прежде, а уже веяло чем-то раздражающим, и в разговорах незаметно воцарялся пустяк. Еще только вчера, в субботу, Громан рассказал на перемене скверный анекдот, и все смеялись; правда, что потом Громана жестоко изругали, и он, жидкий немец, чуть ли не в слезах дал клятву, что пошlostей рассказывать не будет, но факт остался: в первую минуту смеялись. «Разорвусь, а аттестат получу! — подумал Саша, вдруг снова очаровываясь ночью и весной, — там в университете будет по-другому».

На Банной горе, как и днем, толпился праздничный народ, хотя в темноте только и видно было, что спокойные огоньки на противоположной слободской стороне; внизу, под горой, горели фонари, и уже растапливалась на понедельник баня: то ли пар, то ли белый дым светился над фонарями и пропадал в темноте. В толпе заволновались: пробежал первый в году маленький, неизвестно чей катер, показал красный огонь, потом зеленый, и бесшумно скатился в темень реки — маленький, неизвестно чей, такой бодрый и веселый в своем бесцельном ночном скитании. На горке закричали:

— Пароход! Пароход!

По женскому смеху и бубнящему голосу Тимохина разыскали свою компанию, гимназистов и гимназисток, заседавших на скамейке и на перилах, за которыми темнел крутой обрыв и точно падали в реку голые еще деревья.

— Свалишься, Тимохин, слезь! — уговаривал кто-то, а Тимохин, видимо, хмельной, самостоятельно бубнил:

— Оставь! Я, брат, в равновесии собаку съел. Хочешь, по гипотенузе пройду?

Вот и это: стал запивать честный, молчаливый, когда-то застенчивый, угреватый Тимохин, приобрел развязность и склонность к шутовству: над ним смеются, а он доволен и усиленно выставляется. «Эх, напрасно я сюда пошел!» — подумал Саша и снова покраснел: ему многозначительно жала

руку молчаливая, сдержанная, тревожная в своем молчании и красоте Женя Эгмонт.

К гимназисткам, подругам Линочки, и ко всем женщинам Саша относился с невыносимой почтительностью, замораживавшей самых смелых и болтливых: язык не поворачивался, когда он низко кланялся или торжественно предлагал руку и смотрел так, будто сейчас он начнет служить обедню или заговорит стихами; и хотя почти каждый вечер он провожал домой то одну, то другую, но так и не нашел до сих пор, о чем можно с ними говорить так, чтобы не оскорбить, как-нибудь не нарушить неловким словом того чудесного, зачарованного сна, в котором живут они. Так, бывало, и молчат всю дорогу и торжественно шагают; и разве только почтительно предупредит:

— Осторожнее, пожалуйста: здесь выворочены камни!

Мучением была эта дорога; и особенно трудно доставалась Женя Эгмонт, задумчивая Женя Эгмонт, прекрасная Женя Эгмонт, стройная и певучая, как нильская тростинка. После первого же раза, когда они промолчали всю дорогу, Саша решительно сказал сестре:

— Если хочешь, чтобы я ее провожал, ходи вместе с нами.

Линочка попылила, но согласилась на условие, и так втроем они и ходили: Линочка болтала, а те двое торжественно шествовали под руку и молчали, как убитые; а что Женя Эгмонт временами как будто прижимала руку, то это могло и казаться, — так легко было прикосновение твердой и теплой сквозь кофточку руки. Но каждый раз сердце у Саши выпадало из груди и ноги совсем переставали чувствовать мостовую: попадись по дороге камень, Саша упал бы. И в жутком чувстве забвения он плыл по воздуху, по воздуху же неся твердую и теплую сквозь кофточку руку.

Поздоровавшись, Женя Эгмонт спросила:

— Сейчас прошел пароходик. Вы видели?

— Да, видел, — ответил Саша и вдруг поднялся на воздух.

Робко вскинул он свои жуткие глаза обреченного, и навстречу ему из-под полей шляпы робко метнулось что-то черное, светлое, родное, необыкновенное, прекрасное — глаза, должно быть? И уже сквозь эти необыкновенные глаза увидел он весеннюю ночь — и поразился до тихой молитвы в сердце ее чудесной красотой. Но подошел пьяный Тимохин и отвел его в сторону:

— На два слова, Саша. Саша, товарищ!.. Не осуждай меня за пьянство. Они не понимают, а ты все можешь понять и простить, Саша!

Отвел еще на два шага и таинственно забурчал, дыша водкой в самое лицо:

— Слушай: все силы революции разбиты. Это я только тебе по секрету: все силы революции разбиты.

— Брось пить, противно.

— Саша! ты чистый, ты этого не поймешь. Читал сегодня газету?.. Ну то-то, тсс! Молчи! Ты веришь Добровольскому, я знаю, — не верь, Саша. Клянусь! Все они подлецы, я их тонко постиг и взвесил. Послушай меня, Саша, товарищ: иди в монастырь, как Офелия, а я знаю свою дорогу.

Надо было тут же уйти, но Саша остался; и нарочно сел так, чтобы не могла подойти Женя Эгмонт. Слушал вполслуха разговор, раза три уловил слово «порнография», звучащее еще молодо и свежо. Остановил внимание громкий голос Добровольского:

— Нет, вы скажите, почему у русской революции только и есть похоронный марш? Поэтов у нас столько, что не перевешать, и все первоклассные, а ни одна скотина не догадалась сочинить свою русскую марсельезу!

Почему мы должны довольствоваться обедками со стола Европы или тянуть свою безграмотную панихиду?

Из темноты предостерегающе пробубнил Тимохин:

— Саша! Слышишь? Еще сапог не износила, в которых шла за гробом мужа вся в слезах, как Ниобея...

— Башмаков, Тимоша, а не сапог.

— Сам ты, Тимоша, сапог!

— Ну-ка, Тимоша: быть или не быть!

— Слышишь, Саша?

Но смех смолк. От реки потянуло холодом, и несколько минут все сидели молча. На взезде около бань кто-то невидимый тушил фонари, из трех оставляя гореть один; зачернели провалы. Женский голос спросил:

— Читали газеты?

— Да. Шестнадцать.

После короткого молчания кто-то сказал молодым басом, как бы заканчивая цепь размышлений:

— Да, ребята, придется нам сесть за учебу!

Некоторые засмеялись, Тимохин снова трагически пробубнил: «Слышишь, Саша?» — и кто-то назвал его за это Кассандрой и начался какой-то спор, — но Саша уже быстро шел по обезлюдевшей горке, накидывая шаг, словно за ним гнались, и с каждой минутой одиночества чувствуя себя все лучше. И опять что-то чудесное померещилось в весенней ночи, и глаза потянуло к звездам, как давеча у Линочки; но вспомнился Колесников, и радость тихо погасла, а шаги стали медленнее и тяжелее. «Надо будет о нем разузнать, — подумал Саша и прибавил: — Нет, ни ему и никому другому в мире про Женю Эгмонт я не расскажу».

Елена Петровна удивилась, что Саша вернулся один, и ее иконописные глаза вечной матери с тревогой устремились на сына:

— А Лина? Уж не поссорились ли вы опять?

— Да нет, мама, — улыбнулся Саша и нежно поцеловал еще черную голову матери. — Ее проводят, не беспокойся. Почему ты не допускаешь, что мне захотелось побыть с тобой вдвоем? Ведь мы же влюбленные!

Темное лицо Елены Петровны осветилось:

— Правда?

— Да. Дай чаю, мамочка.

Уже от порога она, обернувшись, спросила:

— Этот, ну, Колесников — ничего плохого не сказал тебе?

— Только хорошее. Он чудак.

Линочка долго не возвращалась, и после чая Саша попросил мать сыграть ему «тренди-бренди». Краснея и все чему-то не веря, она села за рояль и сперва стеснялась, что у нее тугие и непослушные пальцы, но уже вскоре, к своему удивлению, вся целиком отдалась наивной трогательности звуков. Нет имени у того чувства, с каким поет мать колыбельную песню — легче ее молитву передать словами: сквозь самое сердце протянулись струны, и звучит оно, как драгоценнейший инструмент, благоговая крепко, целует нежно. Раз через плечо бросила взгляд на Сашу и увидела: сидит, опустив голову на ладони рук, и слушает и думает — родной сын Саша.

Когда прощались, Саша поднял на мать глаза и спросил:

— Мама! Неужели у тебя нет ни одного портрета отца? Подумай: я ни разу не видал его.

Елена Петровна молча посмотрела на него. Молча пошла к себе в комнату — и молча подала большой фотографический портрет: туго и немо,

как изваянный, смотрел с карточки человек, называемый «генерал Погодин» и отец. Как утюгом, загладил ретушер морщины на лице, и оттого на плоскости еще выпуклее и тупее казались властные глаза, а на квадратной груди, обрезанной погонами, рядами лежали ордена.

10. Колесников

На другой день Саша навел справки о Колесникове, и вот что узнал он: Колесников действительно был членом комитета и боевой организации, но с месяц назад вышел из партии по каким-то очень неясным причинам, до сих пор не разъясненным. Одни говорили, что виноват Колесников, уже давно начавший склоняться к большим крайностям, и партия сама предложила ему выйти; другие обвиняли партию в бездеятельности и дрязгах, о Колесникове же говорили, как о человеке огромной энергии, имеющем боевое прошлое и действительно приговоренном к смертной казни за убийство Н-ского губернатора: Колесникову удалось бежать из самого здания суда, и в свое время это отчаянно-смелое бегство вызвало разговоры по всей России. Рассказывали также, что Колесников — участник того знаменитого случая, когда трое революционеров почти десять часов отстреливались от полиции и войск, окруживших дом, и кончили тем, что все трое бежали из подожженного дома.

«Ну и фигура! — думал очень довольный Саша, вспоминая длинные ноги, велосипедную шапочку и круглые наивные глаза нового знакомого, — я ведь предположил, что он не из важных, а он вот какой!» В одном, наиболее осведомленном месте к Колесникову отнеслись резко отрицательно, даже с явной враждебностью, и упомянули о каком-то чрезвычайно широком, но безумном и даже нелепом плане, который он предложил комитету; в чем, однако, заключался план, говоривший не знал, а может быть, и не хотел говорить. О том же плане и так же смутно, недоумевая, рассказал Саше присяжный поверенный Ш., сам не принадлежавший ни к какой партии, но бывший в дружбе и постоянных сношениях чуть ли не со всей подпольной Россией.

— Не знаю, не знаю, Господь с ним! — торопливо говорил Ш. и пальцами, которые у него постоянно дрожали, как у сильно пьющего или вконец измотанного человека, расправлял какие-то бумажки на столе. — Вероятно, что-нибудь этакое кошмарное, в духе, так сказать, времени. Но и то надо сказать, что Василий Васильевич последнее время в состоянии... прямо-таки отчаянном. Наши комитетчики...

Ш. улыбнулся и, скрывая улыбку, потер дрожащими пальцами свой длинный, утинообразный нос.

— Наши боевики... люди местные, мирные и, так сказать, уже отдали дань. Вы слышали, Александр Николаевич, что на днях из комитета вышли еще двое?

— Я мало осведомлен, — сказал Саша и покраснел.

— Да, да, ну, конечно! Да это и не важно, этого уже давно следовало ожидать. А скажите, Александр Николаевич, зачем собственно...

Но в эту минуту в прихожей раздался звонок, и уже пожилой, плешивый, наполовину седой адвокат вздрогнул так сильно, что Саше стало жалко его и неловко. И хотя был приемный час и по голосу прислуги слышно было, что это пришел клиент, Ш. на цыпочках подкрался к двери и долго прислушивался; потом, неискусно притворяясь, что ему понадобилась

книга, постоял у книжного богатого шкапа и медленно вернулся на свое место. И пальцы у него дрожали сильнее.

— Ужасные времена! — сказал он, точно оправдываясь перед юношей. — Да, так что я хотел вас спросить? Кажется...

— О Колесникове — зачем мне понадобились справки, — предупредил Саша, с тоскою глядя на дрожащие, бледные пальцы с синеватыми шлифованными ногтями. — Меня просто заинтересовал этот человек.

— Да, да, ну, конечно, он человек интересный. Я, собственно, и не желаю вмешиваться... — Он виновато опустил глаза и вдруг решительно сказал: — Я хочу только предупредить вас, Александр Николаевич, что во имя, так сказать, дружбы с Еленой Петровной и всей вашей милой семьей — будьте с ним осторожны! Он человек, безусловно, честный, но... увлекающийся.

И уже у двери, провожая Сашу, он сказал:

— Странное явление: я уже два месяца не имею известий от моего Франца. Положим, и вся ваша братия, студенты — ведь вы почти уже студент! — неохотно пишут родителям, но сегодня вдруг получаю обратно денежный перевод. Придется, пожалуй, самому отвезти, а? — Он неестественно засмеялся и закашлялся. И, откашлявшись, с хрипотой в голосе уже серьезно прошептал: — Да, все силы революции развиты.

Несколько дней Саша напрасно подждал Колесникова — сам идти не хотел, хотя узнал и адрес — и уже решил, что встреча и разговор их были чистою случайностью, когда на пятый день, вечером, показалась велосипедная шапочка. Выяснилось, что от промоченных ног Колесников простудился и два дня совсем не выходил из дома. К огорчению Саши, ни о своем загадочном плане и ни о чем важном и интимном Колесников говорить не стал, а вел себя как самый обыкновенный знакомый: расспрашивал Погодина о гимназии и подшучивал над гимназистами, которые недавно сели в лужу с неудавшейся забастовкой. Под конец даже заскучал и откровенно зевнул. «Успокою маму!» — подумал Саша и предложил ему пойти пить чай в столовую. Колесников оживился.

— С удовольствием, того-этого. Я и сам хотел попроситься, да знаю, как у вас в семье строго насчет знакомств. С удовольствием, с удовольствием!

«И откуда он все знает?» — нахмурился Саша и с некоторой тревогой повел гостя в столовую. Но с первых же слов, с неловкого, но почтительного поклона и вопроса о здоровье Елены Петровны гость повел себя так просто и даже душевно, как будто век был знаком и был лучшим другом семьи. Станным было то любопытство, с которым он оглядывал квартиру: не только в гостиной изучил каждую картинку, а для некоторых лазил даже на стул, но попросил показать все комнаты, забрел в кухню и заглянул в комнату прислуги. Впрочем, и все, первый раз бывавшие у Погодиных, также любопытствовали; и было неприятно только то, что свой инспекторский осмотр Колесников мог заключить какой-нибудь нетактичной фразой и даже упреком — бывало и это в последние года. И у всех отлегло от сердца, когда, вернувшись в столовую и берясь за охолодавший чай, Колесников решительно и твердо заявил:

— Хорошо, того-этого, чудесно! Молодец вы, Елена Петровна. А это что? — шкап! То-то в вашей комнате и книг мало, а они здесь. Ну-ка, ну-ка! Посмотрим, того-этого.

И со свечкой полез смотреть книги, а Елена Петровна и Линочка перегнулись с улыбкой.

ПОВЕСТИ

ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ ФИВЕЙСКОГО

I

Над всей жизнью Василия Фивейского тяготел суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тяжелое бремя печали, болезней и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны. Среди людей он был одинок, словно планета среди планет, и особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако. Сын покорного и терпеливого отца, заклустного священника, он сам был терпелив и покорен и долго не замечал той зловещей и таинственной преднамеренности, с какою стекались бедствия на его некрасивую, вихрастую голову. Быстро падал и медленно поднимался; снова падал и снова медленно поднимался, — и хворостинка за хворостинкой, песчинка за песчинкой трудолюбиво восстанавливал он свой непрочный муравейник при большой дороге жизни. И когда он сделался священником, женился на хорошей девушке и родил от нее сына и дочь, то подумал, что все у него стало хорошо и прочно, как у людей, и пребудет таким навсегда. И благословил Бога, так как верил в него торжественно и просто: как иерей и как человек с незлобивой душою.

И случилась это на седьмой год его благополучия, в знойный июльский полдень: пошли деревенские ребята купаться, и с ними сын о. Василия, тоже Василий и такой же, как он, черненький и тихонький. И утонул Василий. Молодая попадьа, прибежавшая на берег с народом, навсегда запомнила простую и страшную картину человеческой смерти: и тягучие, глухие стук своего сердца, как будто каждый удар его был последним; и необыкновенную прозрачность воздуха, в котором двигались знакомые, простые, но теперь обособленные и точно отодранные от земли фигуры людей; и оборванность смутных речей, когда каждое сказанное слово кружится в воздухе и медленно тает среди новых нарождающихся слов. И на всю жизнь почувствовала она страх к ярким солнечным дням. Ей чудятся тогда широкие спины, залитые солнцем, босые ноги, твердо стоящие среди поломанных кочанов капусты, и равномерные взмахи чего-то белого, яркого, на дне которого округло перекатывается легонькое тельце, страшно близкое, страшно далекое и навеки чужое. И много времени спустя, когда Васю похоронили и трава выросла на его могиле, попадьа все еще твердила молитву всех несчастных матерей: «Господи, возьми мою жизнь, но отдай мое дитя!»

Скоро и все в доме о. Василия стали бояться ярких летних дней, когда слишком светло горит солнце и нестерпимо блестит зажженная им обманчивая река. В такие дни, когда кругом радовались люди, животные и поля, все домочадцы о. Василия со страхом глядели на попадью, умышленно громко разговаривали и смеялись, а она вставала, ленивая и тусклая, смотрела в глаза пристально и странно, так что от взгляда ее отворачивались, и вяло бродила по дому, отыскивая какие-нибудь вещи: ключи, или ложку, или стакан. Все вещи, какие нужно, старались класть на виду, но она продолжала искать и искала все упорнее, все тревожнее, по мере того как все выше поднималось на небе веселое, яркое солнце. Она подходила к мужу, клала холодную руку на его плечо и вопросительно твердила:

— Вася! А Вася?

— Что, милая? — покорно и безнадежно отвечал о. Василий и дрожащими загорелыми пальцами с грязными от земли, нестриженными ногтями оправлял ее сбившиеся волосы. Была она еще молода и красива, и на плохонькой домашней ряске мужа рука ее лежала как мраморная: белая и тяжелая. — Что, милая? Может быть, чайку бы выпила — ты еще не пила?

— Вася, а Вася? — повторяла она вопросительно, снимала с плеча словно лишнюю и ненужную руку и снова искала все нетерпеливее, все спокойнее.

Из дома, обойдя все его неприбранные комнаты, она шла в сад, из сада во двор, потом опять в дом, а солнце поднималось все выше, и видно было сквозь деревья, как блестит тихая и теплая река. И шаг за шагом, цепко держась рукой за платье, угрюмо таскалась за попадьею дочь Настя, серьезная и мрачная, как будто и на ее шестилетнее сердце уже легла черная тень грядущего. Она старательно подгоняла свои маленькие шажки к крупным, рассеянным шагам матери, исподлобья, с тоскою оглядывала сад, знакомый, но вечно таинственный и манящий, — и свободная рука ее угрюмо тянулась к кислому крыжовнику и незаметно рвала, царапаясь об острые колючки. И от этих острых, как иглы, колючек и от кислого хрустящего крыжовника становилось еще скучнее и хотелось скулить, как заброшенному щенку.

Когда солнце поднималось к зениту, попадья наглухо закрывала ставни в своей комнате и в темноте напивалась пьяная, в каждой рюмке черпая острую тоску и глуще воспоминание о погибшем сыне. Она плакала и рассказывала тягучим неловким голосом, каким читают трудную книгу неумелые чтецы, рассказывала все одно и то же, все одно и то же о тихоньком черненьком мальчике, который жил, смеялся и умер; и в певучих книжных словах ее воскресали глаза его, и улыбка, и старчески-разумная речь. «Вася, — говорю я ему, — Вася, зачем ты обижаешь киску? Не нужно обижать, родненький. Бог всех велел жалеть: и лошадок, и кошечек, и цыпляток». А он, миленький, поднял на меня свои ясные глазки и говорит: «А зачем кошка не жалеет птичек? Вот голубки разных там птенчиков выведут, а кошка голубков съела, а птенчики все ищут, ищут и ищут мамашу».

И о. Василий покорно и безнадежно слушал ее, а снаружи, под закрытой ставней, среди лопуха, репейника и глухой крапивы, сидела на земле Настя и угрюмо играла в куклы. И всегда игра ее состояла в том, что кукла нарочно не слушалась, а она наказывала: больно вывертывала ей руки и ноги и секла крапивой.

Когда о. Василий в первый раз увидел пьяную жену и по мятежно-взволнованному, горько-радостному лицу ее понял, что это навсегда, — он весь сжался и захохотал тихим, бессмысленным хохотком, потирая сухие, горячие руки. Он долго смеялся и долго потирал руки; крепился, пытался

удержать неуместный смех и, отвернувшись в сторону от горько плачущей жены, фыркали исподтишка, как школьник. Но потом он сразу стал серьезен, и челюсти его замкнулись, как железные: ни слова утешения не мог он сказать метавшейся попадье, ни слова ласки не мог сказать ей. Когда попадья заснула, поп трижды перекрестил ее, отыскал в саду Настю, холодно погладил ее по голове и пошел в поле.

Он долго шел тропинкою среди высоко поднявшейся ржи и смотрел вниз, на мягкую белую пыль, сохранившую кое-где глубокие следы каблучков и округлые, живые очертания чьих-то босых ног. Ближайшие к дорожке колосья были согнуты и поломаны, некоторые лежали поперек тропинки, и колос их был раздавленный, темный и плоский.

На повороте тропинки о. Василий остановился. Впереди и кругом, далеко во все стороны зыбились на тонких стеблях тяжелые колосья, над головой было безбрежное, пламенное июльское небо, побелевшее от жары, — и ничего больше: ни деревца, ни строения, ни человека. Один он был, затерянный среди частых колосьев, перед лицом высокого пламенного неба. О. Василий поднял глаза вверх, — они были маленькие, ввалившиеся, черные, как уголь, и ярким светом горел в них отразившийся небесный пламень, — приложил руки к груди и хотел что-то сказать. Дрогнули, но не подались сомкнутые железные челюсти: скрипнув зубами, поп с силою развел их, — и с этим движением уст его, похожим на судорожную зевоту, прозвучали громкие, отчетливые слова:

— Я — верю.

Без отзвука потерялся в пустыне неба и частых колосьев этот молитвенный вопль, так безумно похожий на вызов. И точно кому-то возражая, кого-то страстно убеждая и предостерегая, он снова повторил:

— Я — верю.

А вернувшись домой, снова, хворостинка за хворостинкой, принялся восстанавливать свой разрушенный муравейник: наблюдал, как доили коров, сам расчесал угрюмой Насте длинные жесткие волосы и, несмотря на поздний час, поехал за десять верст к земскому врачу посоветоваться о болезни жены. И доктор дал ему пузырек с каплями.

II

О. Василия не любил никто — ни прихожане, ни причт. Церковную службу отправлял он плохо, не благолепно: был сух голосом, мямлил, то торопился так, что дьякон едва успевал за ним, то непонятно медлил. Корыстолюбив он не был, но так неловко принимал деньги и приношения, что все считали его очень жадным и за глаза насмеялись. И все окрест знали, что он очень несчастлив в своей жизни, и брезгливо сторонились от него, считая за дурную примету всякую с ним встречу и разговор. На свои именины, праздновавшиеся 28 ноября, он пригласил к обеду многих гостей, и на его низкие поклоны все отвечали согласием, но приходил только причт, а из почетных прихожан не являлся никто. И было совестно перед причтом, и обиднее всего было попадье, у которой даром пропадали привезенные из города закуски и вина.

— Никто и идти к нам не хочет, — говорила она, трезвая и печальная, когда расходились перепившиеся и развязные гости, не уважающие ни дорогих вин, ни закусок и все валившие как в пропасть.

Хуже всех относился к попу церковный староста Иван Порфирыч Копров; он открыто презирал неудачника, и после того как стали известны

селу страшные запои попадьи, отказался целовать у попа руку. И благодушный дьякон тешно убеждал его:

— Постыдись! Не человеку поклоняешься, а сану.

Но Иван Порфирыч упрямо не хотел отделить сан от человека и возражал:

— Нестоящий он человек. Ни себя содержать он не умеет, ни жену. Разве это порядок, чтобы у духовного лица жена запоем пила, без стыда, без совести? Попробуй моя запить, я б ей прописал!

Дьякон укоризненно покачивал головой и рассказывал про многострадального Иова: как Бог любил его и отдал сатане на испытание, а потом сторицею вознаградил за все муки. Но Иван Порфирыч насмешливо ухмылялся в бороду и без стеснения перебивал не нравившуюся речь:

— Нечего рассказывать, и сами знаем. Так то Иов-праведник, святой человек, а это кто? Какая у него праведность? Ты, дьякон, лучше другое вспомни: Бог шельму метит. Тоже не без ума пословица складена.

— Ну, погоди: задаст тебе ужо-тка поп, как руки не поцелуешь. Из церкви выгонит.

— Посмотрим.

— Посмотрим.

И они поспорили на четверть вишневки, выгонит поп или не выгонит. Выиграл староста: он дерзко отвернулся, и протянутая рука, коричневая от загара, сиротливо осталась в воздухе, а сам о. Василий густо покраснел и не сказал ни слова.

И после этого случая, о котором говорило все село, Иван Порфирыч укрепился во мнении, что поп дурной и недостойный человек, и стал подбивать крестьян пожаловаться на о. Василия в епархию и просить себе другого священника. Сам Иван Порфирыч был богатый, очень счастливый и всеми уважаемый человек. У него было представительное лицо, с твердыми, выпуклыми щеками и огромной черной бородою, и такие же черные волосы шли по всему его телу, особенно по ногам и груди, и он верил, что эти волосы приносят ему особенное счастье. Он верил в это так же крепко, как и в Бога, считал себя избранныком среди людей, был горд, самонадеян и постоянно весел. В одном страшном железнодорожном крушении, где погибло много народу, он потерял только фуражку, засосанную глиной.

— Да и та была старая! — самодовольно добавлял он и ставил этот случай в особенную себе заслугу.

Всех людей он искренно считал подлецами и дураками, не знал жалости ни к тем, ни к другим и собственноручно вешал щенят, которых ежегодно в изобилии приносила черная сучка Цыганка. Одного из щенят, который покрупнее, он оставлял для завода и, если просили, охотно раздавал остальных, так как считал собак животными полезными. В суждениях своих Иван Порфирыч был быстр и неоснователен и легко отступался от них, часто сам того не замечая, но поступки его были тверды, решительны и почти всегда безошибочны.

И все это делало старосту страшным и необыкновенным в глазах запуганного попа. При встрече он первый с неприличной торопливостью снимал широкополую шляпу и, уходя, чувствовал, как чаще и лотошливее становятся его шаги — шаги человека, которому стыдно и страшно, — и путаются в длинной рясе жилистые ноги. Точно вся жестокая, загадочная судьба его воплотилась в этой огромной черной бороде, волосатых руках и прямой, твердой поступи и, если о. Василий не сожмется весь, не посторонится, не спрячется за своими стенами, — эта грозная туша раздавит его, как муравья. И все, что принадлежало Ивану Порфирычу Копрову и каса-

лось его, интересовало попа так, что иногда по целым дням он не мог думать ни о чем другом, кроме старосты, его жены, его детей и богатства. Работая в поле вместе с крестьянами, сам похожий на крестьянина в своих грубых смазных сапогах и посконной рубахе, о. Василий часто оборачивался к селу, и первое, что он видел после церкви, была красная железная крыша старостина двухэтажного дома. Потом среди завернувшейся от ветра серой зелени ветел он с трудом отыскивал деревянную потемневшую крышу своего домика, — и было в двух этих непохожих крышах что-то такое, от чего жутко и безнадежно становилось на сердце у попа.

Однажды на Воздвижение попадя пришла из церкви вся в слезах и рассказала, что Иван Порфирыч оскорбил ее. Когда попадя проходила на свое место, он сказал из-за конторки так громко, что все слышали:

— Эту пьяницу совсем бы в церковь пускать не следовало. Стыд!

Попадья рассказывала и плакала, и о. Василий видел с беспощадно и ужасной ясностью, как постарела она и опустилась за четыре года со смерти Васи. Молода она еще была, а в волосах у нее пролегали уже серебристые нити, и белые зубы почернели, и запухли глаза. Теперь она курила, и странно и больно было видеть в руках ее папироску, которую она держала неумело, по-женски, между двумя выпрямленными пальцами. Она курила и плакала, и папироска дрожала в ее опухших от слез губах.

— Господи, за что? Господи! — тоскливо повторяла она и с тупою пристальностью смотрела в окно, за которым моросил сентябрьский дождь.

Стекла были мутны от воды, и призрачной, расплывающейся тенью колыхалась отяжелевшая береза. В доме еще не топили, жалея дров, и воздух был сырой, холодный и неприятный, как на дворе.

— Что ж с ними поделаешь, Настенька! — оправдывался поп, потирая горячие сухие руки. — Терпеть надо.

— Господи! Господи! И защитить некому! — плакалась попадя; а в углу сквозь жесткие спутанные волосы неподвижно и сухо горели волчьи глаза угрюмой Насти.

К ночи попадя напилась, и тогда началось для о. Василия то самое страшное, омерзительное и жалкое, о чем он не мог думать без целомудренного ужаса и нестерпимого стыда. В болезненной темноте закрытых ставен, среди чудовищных грез, рожденных алкоголем, под тягучие звуки упорных речей о погибшем первенце у жены его явилась безумная мысль: родить нового сына, и в нем воскреснет безвремено погибший. Воскреснет его милая улыбка, воскреснут его глаза, сияющие тихим светом, и тихая, разумная речь его, — воскреснет весь он в красоте своего непорочного детства, каким был он в тот ужасный июльский день, когда ярко горело солнце и ослепительно сверкала обманчивая река. И, сгорая в безумной надежде, вся красивая и безобразная от охватившего ее огня, попадя требовала от мужа ласк, униженно молила о них. Она прихорашивалась и заигрывала с ним, но ужас не сходил с его темного лица; она мучительно старалась снова стать той нежной и желанной, какой была десять лет назад, и делала скромное девичье лицо и шептала наивные девичьи речи, но хмельной язык не слушался ее, сквозь опущенные ресницы еще ярче и понятнее сверкал огонь страстного желания, — и не сходил ужас с темного лица ее мужа. Он закрывал руками горящую голову и бессильно шептал:

— Не надо! Не надо!

Тогда она становилась на колени и хрипло молила:

— Пожалей! Отдай мне Васю! Отдай, поп! Отдай, тебе я говорю, проклятый!

А в наглухо закрытые ставни упорно стучал осенний дождь, и тяжело и глубоко вздыхала ненастная ночь. Отрезанные стенами и ночью от людей и жизни, они точно крутились в вихре дикого и безысходного сна, и вместе с ними крутились, не умирая, дикие жалобы и проклятия. Само безумие стояло у дверей; его дыханием был жгучий воздух, его глазами — багровый огонь лампы, задохнувшийся в глубине черного, закопченного стекла.

— Не хочешь? Не хочешь? — кричала попадья и в яростной жажде материнства рвала на себе одежды, бесстыдно обнажаясь вся, жгучая и страшная, как вакханка, трогательная и жалкая, как мать, тоскующая о сыне. — Не хочешь? Так вот же перед Богом говорю тебе: на улицу пойду! Голая пойду! К первому мужчине на шею брошусь. Отдай мне Васю, проклятый!

И страсть ее побеждала целомудренного попа. Под долгие стоны осенней ночи, под звуки безумных речей, когда сама вечно лгушая жизнь словно обнажала свои темные таинственные недра, в его помраченном сознании мелькала, как зарница, чудовищная мысль: о каком-то чудесном воскресении, о какой-то далекой и чудесной возможности. И на бешеную страсть попадья он, целомудренный и стыдливый, отвечал такую же бешеной страстью, в которой было все: и светлая надежда, и молитва, и безмерное отчаяние великого преступника.

Позднюю ночью, когда попадья уснула, о. Василий взял шляпу и палку и, не одеваясь, в старенькой нанковой ряске отправился в поле. Тонкая водяная пыль влажным и холодным слоем лежала над размокшей землей; темно было небо, как земля, и великой бесприютностью дышала осенняя ночь. Во тьме ее бесследно сгинул человек; стукнула палка о подвернувшийся камень, — и все стихло, и наступило долгое молчание. Мертвая водяная пыль своими ледяными объятиями душила всякий робкий звук, и не колыхалась омертвевшая листва, и не было ни голоса, ни крика, ни стона. Была долгая и мертвая тишина.

И далеко за селом, за много верст от жилья, прозвучал во тьме невидимый голос. Он был надломленный, придушенный и глухой, как стон самой великой бесприютности. Но слова, сказанные им, были яркие, как небесный огонь.

— Я — верю, — сказал невидимый голос.

Угроза и молитва, предостережение и надежда были в нем.

III

Весною попадья забеременела, целое лето не пила, и в доме о. Василия воцарился тихий и радостный покой. По-прежнему незримый враг наносил удары: то сдох двенадцатипудовый боров, приготовленный для продажи; то у Насти пошли по всему телу какие-то лишай и не поддавались лечению, — но все это выносилось легко, и попадья в тайниках души даже радовалась: она все еще сомневалась в своем великом счастье, и все эти неприятности казались ей платой за него. Казалось, что если сдохнет дорогой боров, поболееет Настя и произойдет другое печальное, то будущего сына ее никто не осмелится тронуть и обидеть. А за него не только дом и Настя, но и себя, и душу свою отдала бы она с радостью тому невидимому и беспощадному, кто требовал неустанных жертв.

Она похорошела, перестала бояться Ивана Порфирыча и в церкви, идя на свое место, гордо выпячивала округлившийся живот и бросала на людей смелые, самоуверенные взгляды. Чтобы как-нибудь не повредить ре-

бенку, она перестала работать тяжелую домашнюю работу и целые дни проводила в соседнем казенном лесу, собирая грибы. Она очень боялась родов и по грибам загадывала, будут они благополучны или нет: большею частью выходило, что будут благополучны. Иногда среди прошлогодней слежавшейся листвы, темной и пахучей, под непроницаемым зеленым сводом высоких ветвей, она отыскивала семейку белых грибов; они тесно прижимались друг к другу и, темноголовые, наивные, казались ей похожими на маленьких детей и вызвали острую нежность и умиление. С той особенной, правдивой улыбкою, какая бывает у людей, когда у них хорошие мысли и они одни, она осторожно раскапывала вокруг корней волокнистую, серо-пепельную землю, садилась около грибов и долго любовалась ими, немного бледная от зеленых теней леса, но красивая, спокойная и добрая. Потом опять шла развальной и осторожно походкой беременной женщины, и густой лес, в котором прятались маленькие грибки, казался ей живым, умным и ласковым. Один раз она захватила с собою Настю, но та прыгала, шумела, рыскала среди кустов, как развеселившийся волчонок, и мешала попадье думать, — и больше она ее не брала.

И зима проходила хорошо и спокойно. По вечерам попадья шила маленькие распашонки и свивальники, задумчиво расправляя материю белыми пальцами, озаренными ярким светом лампы. Она расправляла и разглаживала рукою мягкую ткань, точно ласкала ее, и думала что-то свое, особенное, материнское, и в голубой тени абажура красивое лицо ее казалось попу освещенным изнутри каким-то мягким и нежным светом. Боясь неосторожным движением спугнуть ее прекрасную и радостную думу, о. Василий тихо расхаживал по комнате, и ноги его в мягких туфлях ступали неслышно и нежно. Он посматривал то на уютную комнату, добрую и приятную, как друг, то на жену, и все было хорошо, как у людей, и от всего исходил радостный и глубокий покой. И душа его тихо улыбалась, и он не замечал и не знал, что во лбу его, где-то между бровями, безмолвно пролегает прозрачная тень великой скорби. Ибо и в эти дни покоя и отдыха над жизнью его тяготел суровый и загадочный рок.

На Крещение, ночью, попадья благополучно разрешилась от бремени мальчиком, и нарекли его Василием. Была у него большая голова и тоненькие ножки и что-то странно-тупое и бессмысленное в неподвижном взгляде округлых глаз. Три года провели поп и попадья в страхе, сомнениях и надежде, и через три года ясно стало, что новый Вася родился идиотом.

В безумии зачатый, безумным явился он на свет.

IV

Прошел еще один год в тяжком оцепенении горя, и когда люди очнулись и взглянули вокруг себя — над всеми мыслями и жизнью их господствовал страшный образ идиота. Как прежде, топилась печи, и велось хозяйство, и люди разговаривали о своих делах, но было нечто новое и страшное; ни у кого не стало охоты жить, и от этого все приходило в расстройство. Работники ленились, не делали, что приказывают, и часто без причины уходили, а новых через два-три дня охватывала та же странная тоска и равнодушие, и они начинали грубить. Обед подавался то поздно, то рано, и всегда кого-нибудь не хватало за столом: или попадья, или Настя, или самого о. Василия. Откуда-то появилось множество рваного белья и одежды, и попадья все твердила, что нужно заштопать мужу носки, и как будто

штопала, а вместе с тем носки всегда были рваные, и о. Василий натирал ногу. И по ночам все ворочались и мучились от клопов; они лезли из всех щелей, на глазах ползали по стене, и ничем нельзя было остановить их отвратительного нашествия.

И куда бы люди ни шли, что бы они ни делали, они ни на минуту не забывали, что там, в полутемной комнате, сидит некто неожиданный и страшный, безумием рожденный. Когда они выходили из дому на свет, они старались не оборачиваться и не глядеть назад, но не могли выдержать и оборачивались — и тогда казалось им, что сам деревянный дом сознает страшную перемену: он точно сжался весь, и скорчился, и прислушивается к тому страшному, что содержится в глубине его, и все его вытарашенные окна, глухо замкнутые двери с трудом удерживают крик смертельного испуга. Попадья часто уходила в гости и целыми часами просиживала у дьяконицы, но и там не находила она покоя: как будто между идиотом и ею протягивались тонкие, как паутина, нити, и соединяли их прочно и навсегда. И если она уйдет на край света, скроется за высокими стенами монастыря или даже умрет — и туда, во мрак могилы, потянутся за нею тонкие, как паутина, нити и опутают ее беспокойством и страхом. И не были спокойны их ночи: бесстрастны были лица спящих, а под их черепом, в кошмарных грезах и снах вырастал чудовищный мир безумия, и владыкою его был все тот же загадочный и страшный образ полуревенка, полужверя.

Ему было четыре года, но он еще не начал ходить и умел говорить одно только слово: «дай»; был зол и требователен и, если чего-нибудь не давали, громко кричал злым животным криком и тянул вперед руки с хищно скрюченными пальцами. В своих привычках он был нечистоплотен, как животное, все делал под себя, на подстилку, и менять ее было каждый раз мучением: с злой хитростью он выжидал момента, когда к нему наклонится голова матери или сестры, и впивался в волосы руками, выдергивая целые пряди. Однажды он укусил Настю; та повалила его на кровать и долго и безжалостно била, точно он был не человек и не ребенок, а кусок злого мяса; и после этого случая он полюбил кусаться и угрожающе скалил зубы, как собака.

Так же трудно было кормить его, — жадный и нетерпеливый, он не умел рассчитывать своих движений: опрокидывал чашку, давился и злобно тянулся к волосам скрюченными пальцами. И был отвратителен и страшен его вид: на узеньких, совсем еще детских плечах сидел маленький череп с огромным, неподвижным и широким лицом, как у взрослого. Что-то тревожное и пугающее было в этом диком несоответствии между головой и телом, и казалось, что ребенок надел зачем-то огромную и страшную маску.

И, как прежде, стала пить измученная попадья. Пила она много, до потери сознания и болезни, но и могучий алкоголь не мог вывести ее из железного круга, в середине которого царил страшный и необыкновенный образ полуревенка, полужверя. Как прежде, искала она в водке глущих и скорбных воспоминаний о погибшем первенце, но они не приходили, и тяжелая, мертвая пустота не дарила ей ни образа, ни звука. Всеми силами разгоряченного мозга она вызывала милое лицо тихонького мальчика, напевала песенки, какие пел он, улыбалась, как он улыбался, представляла, как давился он и захлебывался молчаливой водой; и, уже казалось, становился близок он, и зажигалась в сердце великая, страстно желанная скорбь, — когда внезапно, неуловимо для зрения и слуха, все проваливалось, все исчезало, и в холодной, мертвой пустоте появлялась страшная и

неподвижная маска идиота. И казалось попадье, что во второй раз похоронила она Васю и глубоко зарыла его; и хотелось разбить голову, в самых недрах которой нагло царит чуждый и отвратительный образ. В страхе она металась по комнате и звала мужа:

— Василий! Василий! Скорее сюда!

О. Василий приходил и молча усаживался в неосвещенном углу; и был так безучастен он и спокоен, как будто не было ни крика, ни безумия, ни страха. И глаз его не видно было, и под тяжелою надбровною аркою неподвижно чернели два глубоких пятна, от которых исхудавшее лицо казалось похожим на череп. Опершись подбородком на костлявую руку, он застыл в тяжелом молчании и неподвижности, пока успокоенная попадья с безумной старательностью загораживала дверь, за которой находился идиот. Она сдвигала столы и стулья, набрасывала подушки и платья, но этого казалось ей мало. И с силой пьяного человека она срывала с места тяжелый старинный комод и двигала его к двери, царапая пол.

— Стулья отодвинь! — запыхавшись, кричала она мужу, и тот молча вставал, освобождал место и снова садился в свой угол.

На минуту попадья успокаивалась и садилась, сдерживая рукой тяжелое дыхание, но тотчас же вскакивала и, откинув с уха распустившиеся волосы, с ужасом прислушивалась к тому, что грезилось ей за стеной.

— Слышишь? Василий, слышишь?

Два черных пятна неподвижно глядели на нее, и безучастный далекий голос отвечал:

— Там тихо. Он спит. Успокойся, Настя.

Попадья улыбалась радостно и светло, как ребенок, и нерешительно присаживалась на кончик стула.

— Правда? Спит? Ты сам видел? Не лги: лгать грешно.

— Да, видел. Спит.

— А кто же говорит там?

— Никого там нет. Это слышалось тебе.

И попадье становилось так весело, что она громко смеялась, шутивно покачивала головой и неопределенно отмахивалась — как будто хотел кто-то злой пошутить над нею и напугать, а она поняла его шутку и теперь смеется. Но без отзвука, как камень в бездонную пропасть, падал и тут же умирал одинокий смех, и еще кривился усмешкою рот, когда в глазах ее уже нарастал холодный страх. И такая тишина стояла, словно никогда и никто не смеялся в этой комнате, и с разбросанных подушек, с перевернутых стульев, таких странных, когда смотреть на них снизу, с тяжелого комода, неуклюже стоящего на необычном месте, — отовсюду глядело на нее голодное ожидание какой-то страшной беды, каких-то неведомых ужасов, доселе не испытанных еще человеком. Она оборачивалась к мужу, — в черном углу мутно серело что-то длинное, прямое, смутное, как призрак; она наклонялась ближе, — на нее смотрело лицо, но смотрело оно не глазами, сокрытыми черною тенью бровей, а белыми пятнами острых скул и лба. И, часто дыша громким дыханием страха, она тихо жаловалась:

— Вася! Я боюсь тебя. Какой ты, право! Иди сюда, к свету.

О. Василий покорно перешагнул к столу, и теплый свет лампы пал на его лицо, но не согрел его. Но оно было спокойно, на нем не было страха, и этого было достаточно для попады. Приблизив губы к самому уху о. Василия, она шепотом спросила:

— Поп, а поп! Ты помнишь Васю... того Васю?

— Нет.

— Ага! — обрадовалась попадьа. — Тоже нет. И я нет. Тебе страшно, поп? А? Страшно?

— Нет.

— А зачем ты стонешь во сне? Зачем ты стонешь?

— Так. Нездоров.

Попадьа сердито засмеялась.

— Ты? Нездоров? Это ты нездоров? — Она ткнула пальцем в его костлявую, но широкую и твердую грудь. — Зачем ты лжешь?

О. Василий молчал. Попадьа злобно взглянула на его холодное лицо, давно не стриженную бороду, прозрачными клочками выступавшую из впалых щек, и с отвращением передернула плечами:

— У-ах! Какой ты стал! Противный, злой, холодный, как лягушка. У-ах! Разве я виновата, что он родился такой? Ну говори же. О чем ты думаешь? О чем ты постоянно думаешь, думаешь, думаешь?

О. Василий молчал и внимательным, раздражающим взглядом изучал бледное и измученное лицо попадьи. И когда смолкали последние звуки ее бессвязной речи, жуткая, ненарушимая тишина железными кольцами охватывала ее голову и грудь и словно выдавливала оттуда торопливые и неожиданные слова:

— А я знаю!.. А я знаю! Я знаю, поп.

— Что знаешь?

— Знаю, о чем ты думаешь. Ты... — Попадьа остановилась и со страхом отодвинулась от мужа. — Ты... в Бога не веришь. Вот что!

И когда уже сказала, почувствовала она, как ужасно сказанное ею, и жалкая улыбка, просящая о прощении, раздвинула ее опухшие, искусанные губы, сожженные водкой и красные, как кровь. И обрадовалась, когда поблдевший поп резко и наставительно ответил:

— Это неправда. Думай, что говоришь. Я верю в Бога.

И опять молчание, опять тишина, — но было в ней что-то ласковое, мягко обнимавшее попадью, как теплая вода.

И, потупив глаза, она стыдливо просила:

— Можно мне, Вася, я выпью немного? Скорее засну потом, а то ведь поздно.

Она наливала четверть стакана водки, нерешительно добавляла еще и выпивала до дна, маленькими непрерывными глотками, как пьют женщины. В груди становилось горячо, хотелось какого-то веселья, шума и света, и людских громких голосов.

— Знаешь, что мы сделаем, Вася? Давай играть в карты, в дурачки. Позови Настю. Вот славно будет; люблю я играть в дурачки. Васечка, милый, позови! Я поцелую тебя за это.

— Поздно. Она уже спит.

Попадьа топнула ногой.

— Разбуди!.. Ну, ступай.

Пришла Настя, тонкая, высокая, как отец, с большими руками, загрубевшими в работе; ей было холодно, она зябко куталась в короткий платок и молча проверяла засаленную колоду.

И молча сядились они играть в веселую и смешную игру — в хаосе сдвинутых с мест и перевернутых вещей, среди глубокой ночи, когда давно уже спало все: и люди, и животные, и поля. Попадьа шутила, смеялась, крала из колоды козырные карты, и ей чудилось, что все смеются и шутят; но, лишь замирал последний звук ее речи, та же ненарушимая и грозная тишина смыкалась над нею и душила.

И страшно было смотреть на две пары немых костлявых рук, бесшумно и медленно двигавшихся по столу, как будто только одни эти руки были

живые и не было людей, которым они принадлежат. Вздрогнув, с пьяно-безумным ожиданием сверхъестественного она глядела поверх стола — два холодных, два бледных, два угрюмых лица одиноко выдвигались из темноты и качались в странной немой пляске — два холодных, два угрюмых лица. Что-то пробурчав, попадья выпивала водки, и снова бесшумно двигались костлявые руки, и тишина начинала гудеть, и кто-то новый, четвертый, появлялся за столом. Хищно скрюченные пальцы перебирали карты, потом двигались к попадье, бежали, как пауки, по ее коленям, подбирались к горлу...

— Кто тут? — вскрикивала попадья и вставала и удивлялась, что все уже стоят и со страхом смотрят на нее. И было их только двое: муж и Настя.

— Успокойся, Настя. Мы тут. Больше никого.

— А он?

— Он спит.

Попадья села, и на минуту все перестало качаться и твердо стало на свое место. И лицо у о. Василия было доброе.

— Вася! А что же будет с нами, когда он начнет ходить?

Ответила Настя:

— Сегодня я собирала ему ужинать и видела: он шевелил ножкой.

— Неправда, — сказал поп, но слово это прозвучало далеко и глухо.

И сразу в бешеном вихре закружилось все, заплясали огни и мрак, и отовсюду закачались на попадью безглазые призраки. Они качались и слепо лезли на нее, ощупывали ее скрюченными пальцами, рвали одежду, душили за горло, впивались в волосы и куда-то влекли. А она цеплялась за пол обломанными ногтями и кричала.

Попадья билась головой, порывалась куда-то бежать и рвала на себе платье. И так сильна была в охватившем ее безумии, что не могли с нею справиться о. Василий и Настя, и пришлось звать кухарку и работника. Вчетвером они осилили ее, связали полотенцами руки и ноги и положили на кровать, и остался с нею один о. Василий. Он неподвижно стоял у кровати и смотрел, как судорожно изгибалось и корчилось тело и слезы текли из-под закрытых век. Охрипшим от крику голосом она молила:

— Помогите! Помогите!

Дико-жалобен и страшен был одинокий крик о помощи, и ниоткуда не было ответа. Как саван, облипала его глухая и бесстрастная тишина, и был он мертв в этой одежде мертвых; нелепо задирали ножки опрокинутые стулья и стыдливо сверкали днищами; растерянно кривился старый комод, и ночь молчала. И все слабее, все жалобнее становился одинокий крик о помощи:

— Помогите! Больно! Помогите! Вася, миленький мой Вася...

Холодным и странно-спокойным жестом, не двигаясь с места, о. Василий поднял руки и взял себя за голову, как за полчаса перед тем попадья, и так же неторопливо и спокойно опустил руки, и между пальцами их дрожали длинные исчерна-седые нити волос.

V

Среди людей, их дел и разговоров о. Василий был так видимо обособлен, так непостижимо чужд всему, как если бы он не был человеком, а только движущейся оболочкой его. Он делал все, что делают другие, разговаривал, работал, пил и ел, но иногда казалось, что он только подражает действиям живых людей, а сам живет в другом, куда нет доступа никому.

И кто бы ни видел его, всякий спрашивал себя: о чем думает этот человек? Так явственно была начертана глубокая дума на всех его движениях. Была она в его тяжелой поступи, в медлительности запинаящейся речи, когда между двумя сказанными словами зияли черные провалы притаившейся далекой мысли; тяжелой пеленой висела она над его глазами, и туманен был далекий взор, тускло мерцавший из-под нависших бровей. Иногда приходилось по два раза окликать его, прежде чем он услышит и отзовется; другим он забывал поклониться, и за это стали считать его гордым. Так, не поклонился он однажды Ивану Порфирычу; тот сперва удивился, потом быстро нагнал медленно шагавшего попа.

— Загордели, батюшка! Кланяться не хотите, — насмешливо сказал он.

О. Василий с недоумением посмотрел на него, покраснел слегка и извинился:

— Извините, Иван Порфирыч: не заметил.

Староста строго, сверху вниз, хотел посмотреть на попа и тут впервые заметил, что поп выше его ростом, хотя сам он считался самым высоким человеком в округе. И что-то приятное мелькнуло в этом открытии, и неожиданно для себя староста пригласил:

— Заходите как-нибудь.

И долго оборачивался и мерял глазами попа. Приятно стало и о. Василию, но только на мгновение: уже через два шага та же постоянная дума, тяжелая и тугая, как мельничный жернов, придавила воспоминание о Старостинных добрых словах и на пути к устам раздавила тихую и несмелую улыбку. И снова он думал — думал о Боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

И случилось это на исповеди: окованный своею неподвижною думой, о. Василий равнодушно предлагал какой-то старухе обычные вопросы, когда внезапно поразила его странность, которой не замечал он раньше: он стоит и спокойно расспрашивает о самых сокровенных помыслах и чувствах, а какой-то человек пугливо смотрит на него и отвечает правду — ту правду, которой не дано знать никому другому. И морщинистое лицо старухи сразу сделалось особенным и ярким, как будто кругом была ночь, а на него на одного падал дневной свет. И неожиданно, на полслове перебивая ее, он спросил:

— А ты правду говоришь, старуха?

Но что ответила старуха, он не слышал. Отпал туман от его лица, и блестящими, точно обмытыми глазами он изумленно глядел на лицо женщины, и оно было особенное — на нем была начертана какая-то и ясная и загадочная правда о Боге и о жизни. На голове у старухи под ситцевым платком о. Василий заметил пробор — серенькую полоску кожи среди тщательно расчесанных волос. И этот жалкий пробор, эта глухая забота о старой, некрасивой, никому не нужной голове были также правдой — печальной правдой о вечно одинокой, вечно скорбной человеческой жизни. И тут впервые на сороковом году своего бытия о. Василий Фивейский понял глазами, и слухом, и всеми чувствами своими, что, кроме него, есть на земле другие люди — подобные ему существа, и у них своя жизнь, свое горе, своя судьба.

— А дети у тебя есть? — быстро спросил он, снова перебивая старуху.

— Умерли, батюшка.

— Все умерли? — удивился поп.

— Все умерли, — повторила женщина, и глаза ее покраснели.

— Как же ты живешь? — с недоумением спросил о. Василий.

— Какая же наша жизнь, — заплакала старуха. — Кто милостыньку подаст, тем и живу.

Вытянув шею вперед, о. Василий с высоты своего огромного роста впился в старуху глазами и молчал. И длинное, костлявое лицо его, обрамленное свесившимися волосами, показалось старухе необыкновенным и страшным, и руки ее, сложенные на груди, похолодели.

— Ну, ступай, — прозвучал над нею суровый голос.

...Страшные дни начались для о. Василия, и небывалое творилось в уме его. До сих пор было так: существовала крохотная земля, и на ней жил один огромный о. Василий со своим огромным горем и огромными сомнениями, — а других людей как будто не жило совсем. Теперь же земля выросла, стала необъятною и вся заселилась людьми, подобными о. Василию. Их было множество, и каждый из них по-своему жил, по-своему страдал, по-своему надеялся и сомневался, и среди них о. Василий чувствовал себя как одинокое дерево в поле, вокруг которого внезапно вырос бы безграничный и густой лес. Не стало одиночества, — но вместе с ним скрылось и солнце, и пустынные светлые дали, и плотнее сделался мрак ночи.

Все люди говорили ему правду. Когда он не слышал их правдивых речей, он видел их дома и лица: и на домах и на лицах была начертана неумолимая правда жизни. Он чувствовал эту правду, но не умел ее назвать и жадно искал новых лиц и новых речей. Исповедников в рождественском посту бывало немного, но каждого из них поп держал на исповеди по целым часам и допрашивал пытливо, настойчиво, забираясь в самые запредельные уголки души, куда сам человек заглядывает редко и со страхом. Он не знал, чего он ищет, и беспощадно переворачивал все, на чем держится и чем живет душа. В вопросах своих он был безжалостен и бесстыден, и страха не знала его родившаяся мысль. И уже скоро понял о. Василий, что те люди, которые говорят ему одну правду, как самому Богу, сами не знают правды о своей жизни. За тысячами их маленьких, разрозненных, враждебных правд сквозили туманные очертания одной великой, всеразрешающей правды. Все чувствовали ее, и все ее ждали, но никто не умел назвать ее человеческим словом — эту огромную правду о Боге, и о людях, и о тайнственных судьбах человеческой жизни.

Начал чувствовать ее о. Василий, и чувствовал ее то как отчаяние и безумный страх, то как жалость, гнев и надежду. И был он по-прежнему суров и холоден с виду, когда ум и сердце его уже плавились на огне непознаваемой правды и новая жизнь входила в старое тело.

Во вторник на последней неделе перед Рождеством о. Василий поздно вернулся из церкви; в темных холодных сенях его остановила чья-то рука, и охрипший голос прошептал:

— Василий, не ходи туда.

По страху в голосе он узнал, что это попадьа, и остановился.

— Я уж час жду тебя. Замерзла вся! — Она ляскнула зубами от внезапной дрожи.

— Что случилось? Пойдем.

— Нет! нет! Слушай! Настя... я вошла, а она стоит перед зеркалом и делает лицо, как он, и руки, как он...

— Пойдем.

Он силой увел в комнаты сопротивлявшуюся попадью, и там, озираясь, дрожа от холода и страха, она рассказала. Она шла в комнату, чтобы полить

цветы, и увидела: Настя стоит тихо перед зеркалом, и в зеркале видно ее лицо, но не такое, как всегда, а странно бессмысленное, с дико искривленным ртом и перекосившимися глазами. Потом так же тихо Настя подняла руки и, загнув напряженно пальцы, как у идиота, потянулась ими к своему изображению — и все кругом было так тихо, и все это было так страшно и так не похоже на правду, что попадья вскрикнула и уронила лейку. А Настя убежала. И теперь она не знает наверное, было ли это в действительности, или ей пригрезилось.

— Позови Настю и приходи сама, — приказал поп.

Пришла Настя и остановилась у порога. Лицо у нее было длинное, косящее, как у отца, и стояла она, как обычно стоял он при разговоре: вытянув шею немного набок, с угрюмым взглядом исподлобья. И руки держала назад, как он.

— Настя! Зачем ты делаешь это? — сурово, но спокойно спросил о. Василий.

— Что?

— Мать видела тебя перед зеркалом. Зачем ты делаешь? Ведь он больной.

— Нет, он не больной. Он дерет меня за волосы.

— Зачем же ты делаешь, как он? Разве тебе нравится лицо, как у него?

Настя угрюмо смотрела в сторону.

— Не знаю, — ответила она. И со странной откровенностью взглянула в глаза отцу и решительно добавила — Нравится.

О. Василий всматривался в нее и молчал.

— А вам не нравится? — полуутвердительно спросила Настя.

— Нет.

— А зачем же вы о нем думаете? Я бы его убила.

О. Василию показалось, что и сейчас Настя делает лицо, как у идиота: что-то тупое и зверское пробежало в скулах и сдвинуло глаза.

— Ступай! — резко сказал он.

Но Настя не двигалась с места и с тою же странною откровенностью смотрела отцу прямо в глаза. И лицо ее не было похоже на отвратительную маску идиота.

— А обо мне вы не думаете, — сказала она просто, как безразличную правду.

И тогда в нарастающей мгле зимних сумерек между ними, похожими и разными, произошел короткий и странный разговор:

— Ты дочь моя? Почему же я этого не знал? Ты знаешь?

— Нет.

— Пойди и поцелуй меня.

— Не хочу.

— Ты меня не любишь?

— Нет. Я никого не люблю.

— Как и я! — И ноздри попа раздулись от сдержанного смеха.

— А вы тоже никого не любите? А маму? Она очень пьет. Ее я тоже бы убила.

— А меня?

— Вас нет. Вы со мною разговариваете. Мне вас бывает жалко. Очень, знаете ли, тяжело, когда такой сын — дурачок. Он страшно злой. Вы еще не знаете, какой он злой. Он живых прусаков ест. Я ему дала десять штук, и он всех съел.

Не отходя от двери, она осторожно присела на краешек стула, как служанка, сложила руки на коленях и ждала.

— Скучно, Настя! — задумчиво сказал поп.

Неторопливо и важно она согласилась:

— Конечно, скучно.

— А Богу ты молишься?

— Как же, молюсь. Только по вечерам, а утром некогда, работы много. Подмети, постели убери, посуду помой, Ваське чаю приготовь, подай — сами знаете, сколько дела.

— Как горничная, — неопределенно сказал о. Василий.

— Что вы? — не поняла Настя.

О. Василий молчал, низко склонив голову; и был он огромный и черный на фоне тускло белевшего окна, и слова его казались Насте черными и блестящими, как стеклярус. Она долго ждала, но отец молчал, и робко она окликнула:

— Папа!

Не поднимая головы, о. Василий повелительно махнул рукой — раз и другой раз. Настя вздохнула и поднялась, и лишь только обернулась к двери, что-то прошумело сзади нее, две сильные костлявые руки подняли ее на воздух, и смешной голос прошептал в самое ухо:

— Обнимай за шею. Я отнесу тебя.

— Что вы! Я ведь большая.

— Ничего! Держись.

Трудно было дышать от рук, сжимавших ее, как железные обручи, нужно было нагиваться в дверях, чтобы не удариться головой, и она не знала, хорошо ей или только странно. И она не знала, послышалось ей или отец действительно прошептал:

— Жалей маму.

Но, уже помолвившись Богу и укладываясь спать, Настя долго сидела на кровати и размышляла. Худенькая спина ее, с острыми лопатками и отчетливыми звеньями хребта, сильно горбилась; грязная рубашка спустилась с острого плеча; обняв руками колени и покачиваясь, похожая на черную сердитую птицу, застигнутую в поле морозом, она смотрела вперед своими немигающими глазами, простыми и загадочными, как глаза зверя. И с задумчивым упрямством прошептала:

— А я бы ее все-таки убила.

Позднее ночью, когда все спали, о. Василий тихо вошел в комнату, и лицо его было холодно и сурово. Не взглянув на Настю, он поставил лампу на пол и наклонился над тихо спящим идиотом. Он лежал навзничь, выпятив уродливо грудь, раскинув руки, и маленькая сжатая голова его запрокидывалась назад, белея маленьким срезанным подбородком. Во сне, под бледным отраженным светом, падавшим с потолка, с закрытыми веками, скрывавшими бессмысленные глаза, лицо его не казалось таким страшным, как днем. И утомленным было оно, как лицо актера, измученного трудною игрою, и вокруг огромного сомкнутого рта лежала тень суровой печали. Как будто две души было в нем, и когда одна спала, просыпалась другая, всезнающая и скорбная.

О. Василий медленно выпрямился и с тем же строгим и бесстрастным лицом, не взглянув на Настю, пошел к себе. Шел он медленно и спокойно, тяжелым и мертвым шагом глубокой думы, и тьма разбежалась перед ним, длинными тенями забегала сзади и лукаво кралась по пятам. Лицо его ярко белело под светом лампы, и глаза пристально смотрели вперед, далеко вперед, в самую глубину бездонного пространства, — пока медленно и тяжело переступали ноги.

Была поздняя ночь, и уже пропели вторые петухи.

VI

Пришел Великий пост. Одноцветно затренькал глухой колокол, и его серые, печальные, скромно зовущие звуки не могли разорвать зимней тишины, еще лежавшей над занесенными полями. Робко выскакивали они из колокольной в гущу мглистого воздуха, падали вниз и умирали, и долго никто из людей не являлся на тихий, но все более настойчивый, все более требовательный зов маленькой церкви.

К концу первой недели пришли две старухи, серые, мглистые, глухие, как самый воздух умиравшей зимы, долго шамкали беззубыми ртами и повторяли — бесконечно повторяли — глухие оборванные жалобы, не имевшие начала, не приходившие к концу. Как будто и слезы и слова тоже состарились на долгой службе и хотят покоя. Уже отпущены были их грехи, а они не понимали этого и все о чем-то просили — глухие и мглистые, как обрывки тяжелого сна. За ними потянулся народ; и много молодых, горячих слез, много молодых слов, заостренных и сверкающих, врезалось в душу о. Василия.

Когда крестьянин Семен Мосягин трижды отбил земной поклон и, осторожно шагая, двинулся к попу, тот смотрел на него пристально и остро и стоял в позе, не подобающей месту: вытянув шею вперед, сложив руки на груди и пальцами одной пощипывая бороду, Мосягин подошел вплотную и изумился: поп глядел на него и тихо смеялся, раздувая ноздри, как лошадь.

— А я тебя давно поджидаю, — сказал, усмехаясь, поп. — Зачем пришел, Мосягин?

— Исповедаться, — быстро и охотно ответил Мосягин и дружелюбно оскалил белые зубы, такие ровные, как будто они были отрезаны по нитке.

— Что же, легче станет, когда исповедаешься? — продолжал поп и усмехался весело и дружелюбно, как казалось Мосягину. И такой же улыбкой ответил он:

— Известно, легче.

— А правда, что ты лошадь продал, и овцу последнюю продал, и телегу заложил?

Мосягин серьезно и с неудовольствием взглянул на попа: лицо его было бесстрастно, и глаза опущены. И оба молчали. О. Василий медленно повернулся к аналою и приказал:

— Ну, сказывай грехи.

Мосягин откашлянулся, сделал служебное лицо и осторожно, грудью и головой подавшись к священнику, громким шепотом заговорил. И по мере того как он говорил, все недоступнее и суровее становилось лицо попа — точно каменело оно под градом больно бьющих, нудных слов мужика. И дышал он глубоко и часто, как будто задыхался он в том бессмысленном, тупом и диком, что называлось жизнью Семена Мосягина и обвивалось вокруг него, как черные кольца неведомой змеи. Словно сам строгий закон причинности не имел власти над этой простой и фантастической жизнью: так неожиданно, так шутовски нелепо сцеплялись в ней маленький грех и большое страдание, крепкая, стихийная воля к такому же стихийному, могучему творчеству — и уродливое прозябание где-то на границе между жизнью и смертью. Ясный умом и слегка насмешливый, сильный, как лесной зверь, выносливый настолько, как будто в груди его билось целых три сердца, и когда умирало одно от невыносимых страданий, другие два давали жизнь новому — он мог, казалось, перевернуть самую землю, на которой неуклюже, но крепко стояли его ноги. А в дейст-

вительности происходило так: был он постоянно голоден, голодала его жена, и дети, и скотина; и замутившийся ум его блуждал, как пьяный, не находящий дверей своего дома. В отчаянных потугах что-то построить, что-то создать он распластывался по земле — и все рассыпалось, все валялось, все отвечало ему дикой насмешкой и глумлением. Он был жалостлив и взял к себе сироту-приемыша, и все бранили его за это; а сирота пожил немного и умер от постоянного голода и болезни, и тогда он сам начал бранить себя и перестал понимать, нужно быть жалостливым или нет. Казалось, что слезы не должны были высохнуть на глазах этого человека, крики гнева и возмущения не должны были замирать на его устах, а вместо того он был постоянно весел и шутив и бороду имел какую-то нелепо веселую, огненно-рыжую бороду, в которой все волоски точно кружились и свивались в бесконечной затейливой пляске. Ходил в хоровах наравне с молодыми девками и ребятами; пел жалобные песни высоким переливчатым голосом, и тому, кто его слышал, плакать хотелось, а он насмешливо и тихо улыбался.

И грехи его были ничтожные, формальные: то землемер, которого он возил на Петровки, дал ему скоромного пирога, и он съел, — и так долго он рассказывал об этом, как будто не пирог съел, а совершил убийство; то в прошлом году перед причастием он выкурил папиросу, — и об этом он говорил долго и мучительно.

— Кончил! — весело, другим голосом сказал Мосягин и вытер со лба пот.

О. Василий медленно повернул к нему костлявую голову.

— А кто помогает тебе?

— Кто помогает-то? — повторил Мосягин. — Да никто не помогает. Скучно кормятся жители-то, сам знаешь. Между прочим, Иван Порфирыч помог, — мужик осторожно подмигнул попу, — дал три пуда муки, а к осени чтобы четыре.

— А Бог?

Семен вздохнул, и лицо его сделалось грустным.

— Бог-то? Стало быть, не заслужил.

От ненужных вопросов попа Мосягину стало скучно: он через плечо покосился на пустую церковь, осторожно посчитал волосы в редкой бороде попа, заметил его гнилые черные зубы и подумал: «Много, должно, сахару ест». И вздохнул.

— Чего ты ждешь?

— Чего жду-то? А чего ж мне ждать?

И снова молчание. В церкви темнело, и холодно было, и холод забирался под рубаху мужика.

— Так, значит, и будет? — спросил поп, и слова его звучали далеко и глухо, как комья земли на опущенный в могилу гроб.

— Так, значит, и будет. Так, значит, и будет, — повторил Мосягин, вслушиваясь в свои слова.

И представилось ему то, что было в его жизни: голодные лица детей, попреки, каторжный труд и тупая тяжесть под сердцем, от которой хочется пить водку и драться; и оно будет опять, будет долго, будет непрерывно, пока не придет смерть. Часто моргая белыми ресницами, Мосягин вскинул на попа влажный, затуманенный взор и встретился с его острыми блестящими глазами — и что-то увидели они друг в друге близкое, родное и страшно печальное. Несознательным движением они подались один к другому, и о. Василий положил руку на плечо мужика; легко и нежно легла

она, как осенняя паутина. Мосягин ласково дрогнул плечом, доверчиво поднял глаза и сказал, жалко усмехаясь половиною рта:

— А может, полегчает?

Поп неслышно снял руку и молчал. Белые ресницы заморгали быстрее, еще веселее заплясали волоски в огненно-рыжей бороде, и язык залопотал что-то невнятное и невразумительное.

— Да. Стало быть, не полегчает. Конечно, вы правду говорите...

Но поп не дал ему кончить. Сдержанно топнув ногой, он обжег мужика гневным, враждебным взглядом и зашипел на него, как рассерженный уж:

— Не плачь! Не смей плакать! Ревут, как телята. Что я могу сделать? — Он ткнул пальцем себе в грудь. — Что я могу сделать? Что я — Бог, что ли? Его проси. Ну, проси! Тебе говорю.

Он толкнул мужика.

— Становись на колени.

Мосягин стал.

— Молись!

Сзади надвигалась пустынная и темная церковь, над головой сердитый поп кричал: «Молись, молись!» И, не отдавая себе отчета, Мосягин быстро закрестился и начал отбивать земные поклоны. От быстрых и однообразных движений головы, от необычности всего совершающегося, от сознания, что весь он подчинен сейчас какой-то сильной и загадочной воле, мужику становилось страшно и оттого особенно легко. Ибо в самом этом страхе перед кем-то могущественным и строгим зарождалась надежда на заступничество и милость. И все яростнее прижимался он лбом к холодно-моу полу, когда поп коротко приказал:

— Будет.

Мосягин встал, перекрестился на все ближайшие образа, и весело, с радостной готовностью заплясали и закрутились огненно-рыжие волоски, когда он снова подошел к попу. Теперь он знал наверное, что ему полегчает, и спокойно ждал дальнейших приказаний.

Но о. Василий только посмотрел на него с суровым любопытством и дал отпущение грехов. У выхода Мосягин обернулся: на том же месте расплывчато темнела одинокая фигура попа; слабый свет восковой свечки не мог охватить ее всю, она казалась огромной и черной, как будто не имела она определенных границ и очертаний и была только частицею мрака, наполнявшего церковь.

С каждым днем все больше являлось исповедников, и перед о. Василием непрестанно чередовались морщинистые и молодые лица. Все так же настойчиво и сурово допрашивал он, и целыми часами входила в ухо его робкая неразборчивая речь, и смысл каждой речи был страдание, страх и великое ожидание. Все осуждали жизнь, но никто не хотел умирать, и все чего-то ждали, напряженно и страстно, и не было начала ожиданию, и казалось, что от самого первого человека идет оно. Прошло оно через все умы и сердца, уже исчезнувшие из мира и еще живые, и оттого стало оно таким повелительным и могучим. И горьким оно стало, ибо впитало в себя всю печаль несбывшихся надежд, всю горечь обманутой веры, всю пламенную тоску беспредельного одиночества. Соки сердца всех людей, живых и мертвых, питали его, и мощным деревом раскинулось оно над жизнью. И минутами, теряясь среди душ, как путник среди бесконечного леса, он терял все выстраданное им, суровой скорбью увенчавшее его голову, и сам начинал чего-то ждать — ждать нетерпеливо, ждать грозно.

Теперь он не хотел человеческих слез, но они лились неудержимо, вне его воли, и каждая слеза была требованием, и все они, как отравленные

иглы, входили в его сердце. И с смутным чувством близкого ужаса он начал понимать, что он не господин людей и не сосед их, а их слуга и раб, и блестящие глаза великого ожидания ищут его и приказывают ему — его зовут. Все чаще, с сдержанным гневом, он говорил:

— Его проси! Его проси!

И отворачивался.

А ночью живые люди превращались в призрачные тени и бесшумно толпою ходили вместе с ним, думали вместе с ним — и прозрачными сделали они стены его дома и смешными все замки и оплоты. И мучительные, дикие сны огненной лентой развивались под его черепом.

На пятой неделе поста, когда весной пахнуло с поля и сумерки стали синими и прозрачными, с попадией случился запой. Четыре дня подряд она пила, кричала от страха и билась, а на пятый — в субботу вечером потушила в своей комнате лампаду, сделала из полотенца петлю и повесилась. Но, как только петля начала душить ее, она испугалась и закричала, и, так как двери были открыты, тотчас прибежали о. Василий и Настя и освободили ее. Все ограничилось только испугом, да и больше ничего быть не могло, так как полотенце было связано неумело и удавиться на нем было невозможно. Сильнее всех испугалась попадя: она плакала и просила прощения; руки и ноги у нее дрожали, и тряслась голова, и весь вечер она не отпускала от себя мужа и старалась ближе сесть к нему. По ее просьбе снова зажгли потушенную лампаду в ее комнате, а потом и перед всеми образами, и стало похоже на канун большого и светлого праздника. После первой минуты испуга о. Василий стал спокоен и холодно ласков, даже шутил; рассказал что-то очень смешное из семинарской жизни, потом перешел к совсем далекому детству и к тому, как он с мальчишками воровал яблоки. И так трудно было представить, что это его сторож вел за ухо, что Настя не поверила и не засмеялась, хотя сам о. Василий смеялся тихим и детским смехом, и лицо у него было правдивое и доброе. Понемногу попадя успокоилась, перестала коситься на темные углы и, когда Настю отослали спать, спросила мужа, тихо и робко улыбаясь:

— Испугался?

Лицо о. Василия сделалось недобрым и неправдивым, и усмехнулись одни губы, когда он ответил:

— Конечно, испугался. Что это ты надумала?

Попадья вздрогнула, как от внезапно пронесшегося ветра, и нерешительно произнесла, разбирая дрожащими пальцами бахрому теплого платка:

— Не знаю, Вася. Так, тоска очень. И страшно мне всего. Всего страшно. Делается что-то, а я ничего не понимаю, как это. Вот весна идет, а за нею будет лето. Потом опять осень, зима. И опять будем мы сидеть вот так, как сейчас, — ты в том углу, а я в этом. Ты не сердись, Вася, я понимаю, что нельзя иначе. А все-таки...

Она вздохнула и продолжала, не поднимая глаз от платка:

— Прежде я хоть смерти не боялась, думала, вот станет мне совсем плохо, я и умру. А теперь и смерти боюсь. Как же мне быть, Васенька, милый? Опять... пить?

Она недоуменно подняла на о. Василия печальные глаза, и была в них смертельная тоска и отчаяние без границ, и глухая, покорная мольба о пощаде. В городе, где учился Фивейский, он видел однажды, как засаленный татарин вел на живодерню лошадь: у нее было сломано копыто и болталось на чем-то, и она ступала на камни прямо окровавленной мостыжкой; было холодно, а белый пар облаком окутывал ее, блестела мокрая от испарины шерсть, и глаза смотрели неподвижно вперед — и страшны были они

своею кротостью. И такие глаза были у попадьи. И он подумал, что если бы кто-нибудь вырыл могилу, своими руками бросил туда эту женщину и живую засыпал землей, — тот поступил бы хорошо.

Попадья тщетно старалась раскурить дрожащими губами давно потухшую папиросу и продолжала:

— Опять же он. Ты понимаешь, о ком я. Конечно, ребенок, и жаль его, а вот скоро начнет он ходить — загрызет он меня. И ниоткуда нет помощи. Вот тебе пожаловалась, а что из этого? Как быть, и не знаю.

Она вздохнула и тихо развела ладонями. И вздохнула с нею вся низкая придавленная комната, и заметались в тоске ночные тени, бесшумною толпою окружавшие о. Василия. Они рыдали безумно, и простирали бессильные руки, и молили о пощаде, о милости, о правде.

— А-а-а! — длительным стоном отозвалась костлявая грудь попа.

Он вскочил, резким движением опрокинув стул, и быстро заходил по комнате, потрясая сложенными руками, что-то шепча, натываясь на стулья и стены, как слепой или безумный. И, натываясь на стену, он бегом ошупывал ее костлявыми пальцами и бежал назад; и так кружился он в узкой клетке немых стен, как одна из фантастических теней, принявшая страшный и необыкновенный образ. И, странно противореча безумной подвижности тела, неподвижны, как у слепого, оставались его глаза, и в них были слезы — первые слезы со смерти Васи.

Забыв о себе, попадья с ужасом следила за мужем и кричала:

— Вася, что с тобою? Что с тобою?

О. Василий резко обернулся, быстро подошел к жене, точно раздавить ее хотел, и положил на голову тяжелую прыгающую руку. И долго в молчании держал ее, точно благословляя и ограждая от зла. И сказал, и каждый громкий звук в слове был как звонкая металлическая слеза:

— Бедная, бедная.

И снова быстро заходил, огромный и страшный в своем отчаянии, как зверь, у которого отнимают детей. Лицо его иступленно дергалось, и прыгающие губы ломали отрывистые, беспредельно скорбные слова:

— Бедная. Бедная. Все бедные. Все плачут. И нет помощи! О-о-о!..

Он остановился и, подняв вверх остановившийся взор, пронизывая им потолок и мглу весенней ночи, закричал пронзительно и иступленно:

— И Ты терпишь это! Терпишь! Так вот же...

Он высоко поднял сжатый кулак, но у ног его, охватив руками колена, билась в истерике попадья и бормотала, захлебываясь слезами и хохотом:

— Не надо! Не надо! Голубчик, милый. Я не буду больше!..

Проснулся и замычал идиот; прибежала испуганная Настя, и челюсти попа замкнулись, как железные. Молча и по виду холодно он ухаживал за женою, уложил ее в постель и, когда она заснула, держа его руку в обеих своих руках, просидел у постели до утра. И всю ночь до утра горели перед образом лампадки, и похоже было на канун большого и светлого праздника.

На другой день о. Василий был таким, как всегда, — холодным и спокойным, и ни словом не вспоминал о случившемся. Но в его голосе, когда он говорил с попадьей, в его взгляде, обращенном на нее, была тихая нежность, которую одна только она могла уловить своим измученным сердцем. И так сильна была эта мужественная, молчаливая нежность, что робко улыбнулось измученное сердце и в глубине, как драгоценнейший дар, сохранило улыбку. Они мало говорили между собой, и прости, и обыкновенны были скупые речи; они редко бывали вместе, разрозненные жизнью, — но полным страдания сердцем они непрестанно искали друг

друга; и никто из людей, ни сама жестокая судьба не могла, казалось, догадаться, с какой безнадежной тоскою и нежностью любят они. Уже давно, с рождения идиота, они перестали быть мужем и женою, и похожи были они на нежных и несчастных влюбленных, у которых нет надежды на счастье и даже сама мечта не смеет принять живого образа. И вернулись к женщине потерянная стыдливость и желание быть красивой; она краснела, когда муж видел ее голые руки, и что-то такое сделала с своим лицом и волосами, от чего стали они молодыми и новыми и в строгой печали своей странно-прекрасными. И когда приходил страшный запой, попадая исчезала в темноте своей комнаты, как прячутся собаки, почувствовавшие начало бешенства, и одиноко и молча выносила борьбу с безумием и рожденными им призраками.

И каждую ночь, когда все спало, попадая неслышно прокрадывалась к постели мужа и крестила его голову, отгоняя от нее тоску и злые мысли. Она поцеловать бы его руку хотела, но не осмеливалась, и тихо уходила назад, смутно белея во мраке, как те туманные и печальные образы, что ночью встают над болотами и над могилами умерших и забытых людей.

VII

Все так же однозвучно и уныло вызванивал великопостный колокол, и казалось, что с каждым глухим ударом он приобретает новую силу над совестью людей; все больше собиралось их, и отовсюду тянулись к церкви бесцветные, как колокольный звон, молчаливые фигуры. Еще ночь царила над обнажившимися полями, и еще не начинали звенеть подмерзшие ручьи, когда на всех тропинках, на всех дорогах появлялись люди и строго печальной вереницею, одинокие и чем-то связанные, двигались к одной невидимой цели. И каждый день, с раннего утра до позднего вечера, перед о. Василием стояли человеческие лица, то ярко во всех морщинах своих освещенные желтым огнем свечей, то смутно выступавшие из темных углов, как будто и самый воздух церкви превратился в людей, ждущих милости и правды. Люди теснились, неуклюже толкаясь и топоча ногами, нестройным, разрозненным движением валились на колени, вздыхали и с неумолимою настойчивостью несли попу свои грехи и свое горе.

У каждого страданий и горя было столько, что хватило бы на десяток человеческих жизней, и попу, оглушенному, потерявшемуся, казалось, что весь живой мир принес ему свои слезы и муки и ждет от него помощи, — ждет кротко, ждет повелительно. Он искал правды когда-то, и теперь он захлебывался ею, эту беспощадно правдою страдания, и в мучительном сознании бессилия ему хотелось бежать на край света, умереть, чтобы не видеть, не слышать, не знать. Он позвал к себе горе людское — и горе пришло. Подобно жертвеннику, пылала его душа, и каждого, кто подходил к нему, хотелось ему заключить в братские объятия и сказать: «Бедный друг, давай бороться вместе и плакать и искать. Ибо ниоткуда нет человеку помощи».

Но не этого ждали от него измученные жизнью люди, и с тоскою, с гневом, с отчаянием он твердил:

— Его проси! Его проси!

Печально они верили ему и уходили, а на смену им надвигались новые серые ряды, и снова, как испуганный, повторял он страшные и беспощадные слова:

— Его проси! Его проси!

И несколько часов, когда он слышал правду, казались ему годами, и то, что было утром до исповеди, становилось бледным и тусклым, как все образы далекого прошлого. Когда последним он уходил из церкви, уже темнота царила, и тихо сияли звезды, и молчаливый воздух весенней ночи ласкался нежно. Но он не верил в спокойствие звезд; ему чудилось, что и оттуда, из этих отдаленных миров, несутся стоны, и крики, и глухие мольбы о пощаде. И так стыдно ему было, как будто он совершил все преступления, какие есть в мире, он пролил все слезы, он истерзал и изорвал в клочки человеческие сердца. Стыдно ему было придавленных домов, мимо которых он шел, стыдно было входить в свой дом, где безраздельно и нагло, силою зла и безумия, царил страшный образ полурепбенка, полуживера.

И в церковь, по утрам, он шел так, как идут люди на позорную и страшную казнь, где палачами являются все: и бесстрастное небо, и оторопелый, бессмысленно хохочущий народ, и собственная беспощадная мысль. Каждый страдающий человек был палачом для него, бессильного служителя всемогущего Бога, — и было палачей столько, сколько людей, и было кнотов столько, сколько доверчивых и ожидающих взоров. Все были неумолимо серьезны, и никто не смеялся над попом, но каждую минуту он с трепетом ожидал взрыва какого-то страшного сатанинского хохота и боялся оборачиваться к людям спиной. Все дикое и злое рождается за спиной человека, а пока он смотрит, никто не смеет напасть на него. И он смотрит, муча своим взглядом, и часто посматривает он на ту сторону, где за конторкой стоит Иван Порфирыч Копров.

Один он громко разговаривал в церкви, спокойно торговал свечами и дважды посылал сторожа и мальчиков собирать деньги. Потом звонко считал медяки, складывал стопочками и часто шелкал замком; когда все валились на колени, он только наклонял голову и крестился; и видно было, что он считает себя близким и нужным Богу человеком и знает, что без него Богу было бы трудно устроить все так хорошо и в таком порядке. Давно, с начала поста, он сердился на о. Василия, что тот так долго исповедует: он не мог понять, какие могут быть у этих людей интересные и большие грехи, о которых стоило бы долго разговаривать. И относил это к неумению о. Василия жить и обращаться с людьми.

— Ты думаешь, они это оценят? — говорил он благодушному дьякону, измученному, как и весь причт, тяжелой великопостной работой. — Нипочем. Над ним же смеяться будут.

Но то, что о. Василий был суров, нравилось ему, как и его большой рост; настоящий священнослужитель казался ему похожим на строгого и честного приказчика, который должен требовать точного и верного отчета. Сам Иван Порфирыч говел всегда на последней неделе и задолго приговлялся к исповеди, стараясь вспомнить и собрать все самые маленькие грехи. И был горд собою, что грехи у него в таком же порядке, как и дела.

В среду на Страстной неделе, когда силы уже начали покидать о. Василия, было у него особенно много исповедников. Последним был негодный мужичонка Трифон, калека, таскавшийся на своих костылях по Знаменскому и окрестным селам. Вместо ног, когда-то давно раздавленных на заводской работе и отрезанных по самый живот, у него были коротенькие обрубки, обтянутые кожей; на приподнятых от костылей плечах глубоко сидела грязная, точно паклей покрытая голова, с такою же грязною, свалывшейся бородою и наглыми глазами нищего, пьяницы и вора. Он был отвратителен и грязен, как животное, пресмыкался в грязи и пыли, как гад, и такая же темная и таинственная, как души животных, была его душа. Трудно было понять, как он живет такой, а он жил, напивался пьян, дрался

и даже имел женщин, каких-то фантастических, неправдоподобных женщин, так же мало похожих на человека, как и он.

О. Василию пришлось низко наклониться, чтобы принять исповедь калеки, и в открыто спокойном зловонии его тела, в паразитах, липко ползавших по его голове и шее, как сам он ползал по земле, попу открылась вся ужасная, не допустимая совестью, постыдная нищета этой искалеченной души. И с грозной ясностью он понял, как ужасно и безвозвратно лишен этот человек всего человеческого, на что он имел такое же право, как короли в своих палатах, как святые в своих кельях. И содрогнулся.

— Ступай! Бог отпустит твои грехи, — сказал он.

— Погодите. Еще скажу, — прохрипел нищий, задирая вверх побагровевшее лицо.

И рассказал, как десять лет назад он изнасиловал в лесу подростка-девочку и дал ей, плачущей, три копейки; а потом ему жаль стало своих денег, и он удушил ее и закопал. Так ее и не нашли. Десять раз десяти различным попам рассказывал он эту историю, и от повторения она стала казаться ему простой и обыкновенной и не относящейся к нему, как какая-нибудь сказка. Иногда он разнообразил рассказ: заменял лето осенью и девочку представлял то белокурой, то смуглой, — но три копейки оставались неизменными. Некоторые ему не верили и смеялись над ним, — утверждали, что за десять лет в округе не было убито и не пропало ни одной девочки; ловили его в бесчисленных и грубых противоречиях и с очевидностью доказывали, что всю эту страшную историю он выдумал спьяна, валяясь в лесу. И это приводило его в ярость: он кричал, божился, поминая черта так же часто, как и Бога, и начинал рассказывать такие отвратительные и грязные подробности, что самые старые священники краснели и негодовали. И теперь он ждал, поверит ли знаменский поп или нет, и был доволен, что поп поверил: отшатнулся от него, побледнел и поднял руку, как для удара.

— Правда это? — глухо спросил о. Василий.

Нищий быстро закрестился:

— Ну, ей-Богу, правда. Ну вот провалиться мне...

— Так ведь за это же ад! — крикнул поп. — Ты понимаешь, ад!

— Бог милостив, — угрюмо и обиженно пробормотал нищий.

Но по злым и испуганным глазам его видно было, что сам он ждет ада и уж свыкся с ним, как и с своею странною историей о задушенной девочке.

— На земле — ад, в небе — ад. Где же твой рай? Будь ты червь, я раздавил бы тебя ногой, — но ведь ты человек! Человек! Или червь? Да кто же ты, говори! — кричал поп, и волосы его качались, как от ветра. — Где же твой Бог? Зачем оставил он тебя?

«Поверил!» — с радостью думал нищий, чувствуя себя под словами попа, как под горячей водой.

О. Василий присел на корточки и, в униженности необычайной позы черпая странную и мучительную гордость, зашептал страстно:

— Слушай! Ты не бойся. Ада не будет. Это я верно тебе говорю. Я сам убил человека. Девочку. Настя ее зовут. И ада не будет! Ты будешь в раю. Понимаешь, со святыми, с праведниками. Выше всех. Выше всех — это я тебе говорю!

В тот вечер о. Василий вернулся домой поздно, когда уже поужинали. Был он сильно утомлен и бледен, и до колен мокр, и покрыт грязью, как будто долго и без дорог бродил он по размокшим полям. В доме готовились к Пасхе, и попадья была занята, но, прибегая на минутку из кухни, она

каждый раз с тревогою смотрела на мужа. И веселой она старалась казаться и скрывала тревогу.

А ночью, когда, по обыкновению, она пришла на цыпочках и, трижды перекрестив изголовье, хотела уходить, ее остановил тихий и испуганный голос, непохожий на голос сурового о. Василия:

— Настя! Я не могу идти в церковь.

В голосе был ужас и что-то детское и молящее. Как будто так огромно было несчастье, что нельзя уже и не нужно было одеваться гордостью и скользкими, лживыми словами, за которыми прячут люди свои чувства. Попадья стала на колени у постели мужа и взглянула ему в лицо: при слабом синеватом свете лампадки оно казалось бледным, как у мертвеца, и неподвижным, и черные глаза одни косились на нее; и лежал он навзничь, как тяжело больной или ребенок, которого напугал страшный сон и он не смеет пошевельнуться.

— Молись, Вася! — прошептала попадья, глядя его холодные руки, сложенные на груди, как у покойника.

— Не могу. Мне страшно. Зажги огонь, Настя!

Пока она зажигала лампу, о. Василий начал одеваться, медленно и неловко, как тяжело больной, давно не вставший с постели. Крючки на помятом платье он не мог застегнуть сам и попросил жену:

— Застегни.

— Куда ты? — удивилась попадья.

— Никуда. Я так.

И медленно он начал ходить по комнате, ступая неуверенно и слабо подгибающимися ногами. Голова его тряслась еле заметно и ровною дрожью, и нижняя челюсть бессильно отвисла; с усилием он подбирал ее, обливая языком сухие пересмякшие губы, но через минуту она падала снова и открывала черное отверстие рта. Надвигалось что-то огромное и невыразимо ужасное, как беспредельная пустота и беспредельное молчание. И не было земли, и людей, и мира за стенами дома — там был тот же зияющий, бездонный провал и вечное молчание.

— Вася! Неужели это правда? — спросила попадья, замирая от страха.

О. Василий взглянул на нее тусклыми, без блеска глазами и с минутным приливом силы замахал рукой:

— Не надо. Не надо. Молчи.

И снова заходил, и снова отпала бессильная челюсть. И так ходил он медленно, как само время, а на постели сидела бледная женщина, замирающая от страха, и медленно, как время, двигались ее глаза и следили. И надвигалось что-то огромное. Вот пришло оно и стало и охватило их пустым и всеобъемлющим взглядом — огромное, как пустота, страшное, как вечное молчание.

О. Василий остановился против жены и, тускло глядя на нее, сказал:

— Темно. Зажги еще огонь.

«Он умирает», — подумала попадья и трясущимися руками, роняя спички, зажгла свечу. И снова он попросил:

— Зажги еще.

И она зажигала, все зажигала, и уже много горело ламп и свечей. Как маленькая голубая звездочка, терялась лампадка в живом и смелом блеске огня, и было похоже на то, что уже наступил большой и светлый праздник. И медленный, как время, тихо двигался он в сияющей пустоте. Теперь, когда пустота светилась, увидела попадья и поняла на одно короткое, но ужасное мгновение, — что он одинок, не принадлежит ей и никому, и ни она и никто не может этого изменить. Если бы сошлись добрые и сильные

люди со всего мира, обнимали его, говорили бы ему слова утешения и ласки, он остался бы так же одинок.

И снова подумала, холодея: «Он умирает».

Так проходила ночь. И когда уже близилась она к концу, шаги о. Василия стали тверже, он выпрямился, несколько раз взглянул на попадью и сказал:

— Зачем столько огня? потуши.

Попадья потушила свечи и лампы и нерешительно заговорила:

— Вася!

— Завтра поговорим. Ну, ступай к себе. Нужно ложиться.

Но попадьа не уходила и о чем-то умоляла его глазами. И, по-прежнему высокий и сильный, он подошел и, как ребенка, погладил ее по голове.

— Так-то, попадьа! — сказал он и улыбнулся.

А лицо его было бледно прозрачной бледностью смерти, и вокруг глаз лежали черные круги: как будто притаилась там ночь и не хотела уходить.

Наутро о. Василий объявил жене: он снимает с себя сан, и осенью, собравши деньги, они уедут далеко — еще неизвестно куда. А идиот останется: он будет отдан на воспитание. И попадьа плакала и смеялась, и в первый раз после рождения идиота поцеловала мужа в губы, краснея и смущаясь.

Было в это время Василию Фивейскому сорок лет и жене его тридцать четыре года.

VIII

Три месяца отдыхала их душа; и снова вернулась в их дом потерянная надежда и радость. Всею силою пережитых страданий поверила попадьа в новую жизнь, совсем новую и совсем особенную, какой нет и не может быть у других людей. Она смутно чувствовала то, что происходит в сердце ее мужа, но она видела его особенную бодрость, спокойную и ровную, как пламя свечи; видела особенный блеск его глаз, какого не было раньше, и верила в его силу. О. Василий пытался иногда говорить с нею о том, куда они уедут и как будут жить, — но она не хотела его слушать: точные и определенные слова отпугивали ее широкую и бесформенную мечту и как-то странно и страшно сближали будущее с мучительным прошлым. Одного только она хотела: чтоб это было далеко, за пределами знакомого ей и по-прежнему страшного мира. Как и раньше, случались запои, но проходили быстро, и она не боялась их: верила, что скоро перестанет пить совсем. «Там будет другое, там не нужно будет пить», — думала она, озаренная светом неопределенной и прекрасной мечты.

Когда наступило лето, она снова начала на целые дни уходить в лес и поле, возвращалась в сумерки и поджидала у калитки, когда приедет с снокоса о. Василий. Неслышно и медленно нарастала тьма короткой летней ночи; и казалось, что никогда не придет ночь и не погасит дня; и только взглянув на смутные очертания рук, лежавших на коленях, она чувствовала, что есть что-то между нею и ее руками, и это — ночь с своей прозрачною и таинственною мглою. И уже беспокоиться она начинала, когда приезжал о. Василий, высокий, сильный, веселый, окруженный резким и приятным запахом травы и поля. Лицо у него было темное от ночи, а глаза ласково светились, и в сдержанном голосе словно таилась необъятная ширь полей и запахов трав и радость продолжительной работы.

РАССКАЗЫ

В ХОЛОДЕ И ЗОЛОТЕ

Несмотря на ранний час, в маленькой квартирке Лавровых, состоящей из одной комнаты и маленькой кухни, движение.

Лаврова, старушка лет пятидесяти пяти, бедно, но чисто одетая, тихо убирает комнату. Щетка нечаянно выпала из рук старушки, она вздрогнула и кинула испуганный взгляд на небольшой диван, на котором, съжившись, спал молодой человек, ее сын.

— Чуть-чуть не разбудила, — произнесла старушка, покачивая головой, и, подойдя к сыну, заботливо поправила сбившееся одеяло.

— Как ежится-то, бедненький, и коротко-то, и холодно-то... надо поскорее затопить...

И старушка быстро принялась за печку.

Когда в комнате было совершенно прибрано и самовар стоял уже на столе, старушка подошла к сыну и, осторожно дотронувшись до плеча, тихо произнесла:

— Саша, Сашенька.

— А-а, что? — встрепенулся молодой человек. — Разве поздно?

— Девятый час, мне и то жалко было тебя будить, да ты велел.

— А-а-а, — потянулся молодой человек. — А что сегодня у нас?

— Воскресенье, и зачем вставать-то так рано, ведь в университет не идти.

— Нужно мне, матушка, — произнес Лавров и снова потянулся. — Матушка, да что это вы делаете? — быстро вскочил он с дивана, видя, что старушка взялась чистить его сапоги. — Оставьте, я сам.

— Сашенька, голубчик, голыми-то ногами по полу, — встрепенулась старушка. — Оставлю, оставлю, только, ради Христа, сядь, простудишься.

— Ничего, матушка, не простудимся, — беззаботно произнес Лавров, — что с нами делается.

Окончив свой несложный туалет, Лавров сел к столу, пододвинул к себе стакан чаю с сильным запахом веника, затем взялся за газету. Между публикациями он перечитал одно место несколько раз, пожал плечами, выдвинул ноги и внимательно осмотрел свои сапоги, начинавшие сильно протираться, потом пиджак, который также не дал ему ничего утешительного. Лавров машинально заболтал ложкой в стакане и задумался.

— Сашенька, — произнесла через несколько минут старушка.

Лавров поднял голову.

— Ты когда от Симонова жалованье получишь?

— Пятого, а что?

— Да денег у меня совсем мало, а завтра за квартиру платить надо... Сашенька, — после небольшой паузы робко начала старушка, — а ты не мог бы у Симонова вперед попросить?

— Ах, матушка, — раздраженно произнес Лавров, — сколько раз я вам говорил, чтобы вы меня об этом не просили, даже...

— Да нет, нет, Сашечка, не сердись, голубчик, я ведь так только.

— Просить, одолжаться этому разжившемуся купчине, — и Лавров раздраженно зашагал. — Прошлый раз просил, так и то, вперед я, говорит, не люблю платить.

— А какое сегодня число? — обратился он к матери.

— Двадцать пятое.

— У-у, еще десять дней. А что, у вас мало осталось?

— Совсем мало. Отдам за квартиру, только четыре рубля останется.

— Четыре рубля, — в раздумье произнес Лавров, — далеко не уедешь.

Ну уж, матушка, как-нибудь обернитесь.

— Да понятно, я ведь только так, а ты, голубчик, не беспокойся, хватит.

Сын и мать задумались.

— А ты, кажется, Сашечка, куда-то по публикации хотел идти?

— Хотел-то хотел, да... — и Лавров прищелкнул языком.

— А что же?

— Да видите ли: «нужен репетитор, — прочел Лавров публикацию, — Литейная, Вольский, собственный дом».

— Ну, что ж такое? Значит, люди богатые.

— Вот то-то и есть, что богатые. Так как я в таких-то? — и Лавров выставил свои ноги.

— Да, да, — сокрушенно закачала старушка головой, — как прорвались-то. И как тебе холодно должно быть?

— Да это-то пустяки, — произнес Лавров, — а вот как я в таком пиджаке да сапогах в квартиру «домовладельца» войду.

— Хоть бы ты, Сашечка, у кого-нибудь занял.

— Занял! Легко сказать, занял, а к кому я пойду; мои товарищи такие же нищие, как и я, а не идти же к богатеньким, милости просить, «дайте, мол, на сапоги».

— О-о-ох, Сашечка, Сашечка, и когда-то ты университет-то кончишь, просто жду не дождусь, — со вздохом произнесла старушка.

— Что ждатель-то; еще неизвестно, лучше ли будет.

— Ой, голубчик, что ты, Господь с тобой, — замахала старушка руками, — и не говори, меня не разочаровывай, я только и думаю, сплю и вижу это время.

— А что, матушка, уж очень разве туго живется? — произнес Лавров, крепко обняв мать и любовно заглядывая в ее доброе лицо.

— Сашечка, дорогой мой, да разве я ропщу, разве я для себя, болит, глядя на тебя, душа, как ты самые лучшие годы в труде да в нужде проводишь; вон другие...

— Полно, матушка, чего меня жалеть; работать надо, пока силы есть; вот того жалеть надо, кто и рад бы работать, да не может. А вы обо мне, родная, поменьше думайте.

— Золото ты мое, — произнесла старушка со слезами на глазах и, прижав к груди сыновнюю голову, крепко ее поцеловала.

Лавров редко говорил так с матерью. Теперь в горле у него что-то зашекотало, он заморгал глазами и, чтобы не дать себе воли, быстро поднял голову и зашагал по комнате.

— Ну, однако, идти пора. Будь что будет, попытаюсь.

— Иди, иди, родной мой, — произнесла старушка.

Лавров опять внимательно осмотрел себя, еще раз обчистил свой пиджак, подмазал сапоги, стараясь замаскировать протершиеся места.

— Ну, прощайте, матушка, — подошел он к матери.

Та крепко его поцеловала и перекрестила широким крестом.

— Меня, матушка, обедать не ждите, я у товарища отобедаю.

— Хорошо, родной мой, хорошо. Только к ужину купи чего-нибудь.

— Кому, вам? — обернулся Лавров.

— Что ты! Когда я ужинаю? Себе.

— Хорошо, — произнес Лавров, скрываясь за дверью.

— Сокровище ты мое, — послала ему вслед старушка.

А Лавров, выйдя на улицу, размышлял:

«Ужинать нельзя, и без ужина обойдемся. Уж меньше, чем на пятнадцать копеек, ничего не купишь. Ну, вчера не ужинал — пятнадцать копеек, сегодня не буду — тридцать, да еще в чем-нибудь сэкономлю, и можно будет купить книгу». А книга ему обязательно нужна. Недавно еще он делился этой книгой с товарищем, а теперь товарищ переехал далеко, надо купить свою собственную.

«Да, жизнь-то, правда, каторжная, — продолжал размышлять Лавров. — Да мне-то ничего, а вот старуху-мать жалко, хотелось бы ее на старости лет успокоить. Ведь и родится же на свет такое несчастное создание; то с отцом-пьяницей сколько лет возилась, сколько горя и оскорблений приходилось переносить, теперь бедность этакая, шубенки у старухи путной нет, придет всегда вся закоченевшая. Сама все стирает, порет да чинит».

В этих размышлениях Лавров дошел до Литейной.

«Ну, где-то этот дом моего будущего патрона?» — оглянулся он вокруг.

«Ишь ведь какие все палаты понастроены. Все богачи, богачи, — произнес Лавров, заглядывая в окна бельэтажей. — А там вон, в пятом этажике, и наш брат», — размышлял Лавров, добродушно улыбаясь.

«А эти? живут себе припеваючи, ни о чем не заботятся, не беспокоятся, сыты, обуты, одеты... А почему знать? — остановил сам себя Лавров, — и в этих хоромах, может быть, живут несчастные, истинно несчастные души... Почему знать?»

«Дом Николая Михайловича Вольского, — прочел Лавров. — Ух, домина-то какой, видно, у хозяина-то денежки водятся в изобилии».

— Николай Михайлович Вольский здесь живет? — обратился Лавров к швейцару.

— Здесь, а вам что? — без особой почтительности спросил тот.

— Они ищут учителя. Дома они?

— До-о-ма, — протянул швейцар, внимательно осмотрев Лаврова с ног до головы. — Вот в первом этаже, первая дверь налево.

Лавров зашагал по устланной ковром лестнице, провожаемый насмешливым взглядом швейцара. «Ну уж, батенька, — послал он вслед Лаврову, — вряд ли поладишь, тут не «этакого» надо».

«Ух, какая роскошь, — рассуждал сам с собой Лавров, идя по лестнице, — ковры, цветы, зеркала... Однако мой костюм не совсем гармонирует со всей этой роскошью», — подумал он, взглянув мимоходом в зеркало. — Тут ищут учителя? — объявил он лакею, отворившему дверь.

Лакей ввел его в гостиную и пошел доложить. Лавров оглянулся вокруг.

«Господи, роскошь-то, роскошь какая! Куда ни взглянешь, везде деньги, — и невольно опять он кинул на себя беглый взгляд в зеркало. — Вот

так залетела ворона... даже совестно на себя смотреть, — уж с досадой думал Лавров. — И дернуло же меня идти, надо было вернуться».

— Барыня сейчас выйдут, — объявил лакей.

«Вот еще сюрприз — объяснение с барыней. Выпорхнет какая-нибудь затянута кукла, изволь объясняться... И эти сапоги, пиджак, я думаю, такой костюм первый раз видит этот салон. И дернуло же меня...»

Эти размышления были прерваны. Легкой, плавной походкой в комнату входила молодая женщина с бледным, утомленным лицом.

Увидав Лаврова, она как будто смутилась. Лавров заметил это, и густая краска залила его щеки. «Мой костюм, кажется, производит должное впечатление», — промелькнуло у него в голове.

— Вы по публикации? — любезно обратилась Вольская, усаживаясь на диван и указывая Лаврову место около себя.

— Да, — отрывисто произнес Лавров.

— Вам уже приходилось иметь дело с учениками? — снова тихим, мягким голосом начала Вольская.

— Как же, и не один раз, — все так же отрывисто, почти грубо отвечал Лавров.

— Видите ли, моему сыну только девять лет, он мальчик способный, но очень болезненный, впечатлительный, с ним надо быть как можно осторожнее, не утруждать его очень учением. У него в первый раз учитель. Собственно, я за женское воспитание, мне кажется, ему еще слишком рано мужское, но этого хочет мой муж. А потому, если мы поладим, то я попрошу вас быть с ним как можно осторожнее, не прибегать ни к каким резким мерам, ни к наказаниям.

Вольская говорила тихо, спокойно, в ее голосе слышалась какая-то добрая, чувствительная нотка; она совсем не подходила к тому портрету, который нарисовал себе Лавров перед ее появлением.

«Кажется, барыня-то ничего себе», — думал Лавров, и с лица его понемногу начало сходить угрюмое выражение.

— Зачем же прибегать к каким-нибудь мерам, — начал он. — Ведь они годны к известному роду детей. Да я вообще против всяких сильных мер, они большею частью озлобляют или убивают детское самолюбие, а это главное, что надо щадить и оберегать.

Вольская все время с большим вниманием слушала Лаврова, ловя его каждое слово.

— Да, да, — произнесла она, — именно так, вы правы, совершенно правы. Я очень рада, что вы одинакового со мной мнения.

Вольская положительно начала нравиться Лаврову, она говорила с какой-то ласкающей мягкостью, в манерах и в разговоре ее виднелась какая-то непринужденная простота, что Лавров забыл и свои сапоги, и пиджак, и то, что он сидит в роскошной гостиной.

— Я бы очень хотела, — продолжала Вольская, — чтобы мой мальчик вас полюбил, это главное; когда дети любят своих учителей и наставников, учение всегда идет хорошо и не бывает им в тягость.

— Не знаю, поладим ли мы с вашим сыном, но в этом отношении я был всегда счастлив, все мои ученики меня любили...

— Да? — с довольной улыбкой произнесла Вольская. — Очень рада это от вас слышать. А моего мальчика не трудно привязать, с ним надо быть только ласковее. Не знаю почему, но мне кажется, вы сумеете.

— Благодарю вас за доверие, постараюсь вполне оправдать его, — произнес Лавров, привставая с места, и хотел протянуть руку, но сейчас же от-

дернул. «Может быть, и не желают «учителю» руки подавать», — вмиг пронеслось в его голове.

Вольская, заметив это движение, с ласковой улыбкой протянула ему руку, которую, сконфуженный своим поступком, Лавров неловко пожал.

— Теперь поговорим об условиях, — снова начала Вольская. — Сколько вы желаете за ваш труд?

— Право не знаю, — потирая свой лоб, произнес Лавров, который всегда смущался, когда разговор касался денежного вопроса. — Я разню беру... ведь с вашим сыном придется каждый день заниматься.

— Да.

— Мне, значит, надо будет отказаться от одного места, где я репетирую два раза в неделю.

— Да, я вас попрошу... Ну так сколько же?

— Да право не знаю. Вы сколько другим платили?

— Мне еще не приходилось иметь дело с учителями, — улыбаясь отвечала Вольская. — И притом, как же я могу ценить чужой труд, вы сами должны назначить.

Лавров молчал.

— Ну, сколько вы получаете на том месте?

— Пятнадцать рублей.

— Ну вот, вы потеряете из-за меня урок в пятнадцать рублей, — помогла ему Вольская. — Да за ваш труд у меня... Ну сколько же?

Ну... шестьдесят рублей будет достаточно? — точно сама с легкой запинкой докончила Вольская.

Лавров покраснел.

— Более нежели достаточно.

— Ну и прекрасно, проходите к нам с неделю, а там, если условия наши вам покажутся неудобными, вы перемените.

— Нет, зачем же менять, — бормотал все еще смущенный Лавров.

— Значит, мы покончили. Теперь я попрошу немного подождать, я хочу познакомить вас с моим сыном, он сейчас должен кончить урок музыки, и завтра же можно будет начать уроки.

Вольская перевела разговор, расспросила Лаврова, как он живет, много расспрашивала его о матери. Лавров совершенно забыл, что он говорит с «богачихой» и с «светской барыней», и незаметно для самого себя коснулся самого большого места своей жизненной обстановки. Вольская с участием слушала его. Выбрав удобную минуту, она обратилась к нему:

— Я вас и не спросила, как желаете вы получать жалованье, вперед или по истечении месяца?

— То есть, как это, понятно было бы... Нет, нет, по истечении, — поспешил окончить Лавров.

— Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, мне решительно все равно, — произнесла Вольская, приподнимаясь с места.

— Но ведь это будет не совсем удобно, — бормотал сконфуженный Лавров.

— Чего же тут неудобного? — совершенно просто заметила Вольская и, не дав времени себе возразить, быстро встала и, выйдя из комнаты, через несколько минут возвратилась.

— Будьте так любезны, получите, — произнесла она, подавая вконец растерявшемуся Лаврову деньги.

— Нет, это совсем неудобно, нет, нет, я не возьму, — решительно произнес Лавров, кладя деньги на стол.

— Полноте, да не все ли равно, я вас прошу взять, — совершенно серьезно настояла Вольская.

Лавров краснея принял деньги и неловко зачихал их в боковой карман.

— Мне, право, так неудобно... Я ни за что бы не согласился, если бы не мой костюм... Он меня так стесняет... — совершенно путаясь, говорил Лавров.

Вольская перебила его и опять перевела разговор на другую тему.

В передней раздался звонок.

— Кто это может быть? — нетерпеливо пожала плечами Вольская.

Послышались шаги, и через минуту, с надменным, презрительным лицом, появился на пороге высокий брюнет. Он в недоумении остановился на пороге и с каким-то брезгливым выражением остановил свой взгляд на Лаврове, тот почуствовал на себе этот взгляд и, миг оценив его значение, опустил глаза. Бедного студента точно кинуло в жар, так сильно покраснел он. Вольский перевел вопросительный взгляд на жену. Та совершенно растерялась. Несколько секунд продолжалась эта тяжелая немая сцена.

— Я тебя никак не ждала, так рано, — каким-то сконфуженным голосом произнесла Вольская.

— Да заседание отложено, — не спеша произнес Вольский, продолжая смотреть то на жену, то на Лаврова.

— Вот господин Лавров, — как-то несмело, почти виноватым голосом снова начала Вольская, — согласился принять на себя труд репетировать нашего сына.

— Очень жаль, та chere¹, — с расстановкой произнес Вольский, — что ты поторопилась окончить с господином Лавровым без меня.

Тон Вольского не предвещал ничего хорошего. Вольская подняла растерянный, почти умоляющий взгляд на мужа. Тот как будто не заметил этого взгляда и продолжал:

— Я сейчас условился с одним репетитором.

— Как же это... но ведь я совсем окончила с господином Лавровым... можно тому отказать.

— Не могу, — пожал плечами Вольский, — я дал слово.

— Значит, мои услуги не нужны? — угрюмо, не поднимая головы, произнес Лавров.

— Нет, — четко проговорил Вольский и позвонил.

— Мне остается только раскланяться, — произнес Лавров и поклонился.

— Проводи, — приказал Вольский появившемуся лакею.

Лавров сделал несколько шагов, но тут вспомнил, что у него вперед взяты деньги, остановился и неловко положил их около Вольской, которая, совершенно растерявшись, стояла опустив глаза. Вольский с холодным презрением следил за всей этой сценой.

— Кто это такой, та chere, — невозмутимым тоном начал он, лишь только Лавров скрылся за дверью.

Вольская не отвечала и только с горьким упреком глядела на мужа.

— Кто это такой?! Репе-ти-тор, — насмешливо произнес Вольский. — Нет, ша chere, вы больны; вы совершенно больны, это какой-то рагвену², лакей! Ма chere, да скажите вы мне на милость, что с вами такое?

— Как тебе не стыдно! — только и могла выговорить Вольская.

— Это уж мне у вас следует спросить, кого это вы наняли.

— Учителя, — твердо произнесла Вольская.

¹ моя дорогая (франц.)

² выскочка (франц.)

— Учи-те-ля... Неужели вы, Nadine, серьезно решились выбрать к вашему сыну подобного «учителя».

— Совершенно серьезно, и не понимаю, как ты решился оскорбить подобным образом бедного человека.

— Я еще виноват! Нашла какого-то прощелыгу, да я же должен с ним церемониться!

— Этот прощелыга нисколько не хуже меня и тебя, — тихо произнесла Вольская, у которой на щеках выступила скрытая краска гнева.

— Нет уж, мой ангел, можете с собой кого угодно сравнивать, а меня уж избавьте, — с ироническим презрением произнес Вольский.

— Что же, — пожалала та с горькой улыбкой плечами, — не думаю, чтобы от этого сравнения я пострадала.

— Да, не знаю, пострадали ли вы, но думаю, что сильно пострадал ваш голубой атлас от прикосновения «изящного» костюма вашего репетитора.

Вольская ничего не ответила, она опустила глаза, желая не видеть мужа и хотя немного изгладить то неприятное впечатление, которое произвел он на нее своим поступком.

Вольский также сидел задумавшись. Он шел, чтобы поговорить с женой о важном и приятном деле, и вдруг этот «учитель» и вся эта неприятная сцена. Но надо же как-нибудь поправить. Вольский встал и, пройдясь несколько раз по комнате, подошел к жене, взял ее за руку и грациозно поцеловал.

В движениях и манерах Вольского виделась какая-то изящность, вообще он сразу имел вид, что называется, джентльмена, но, взглядевшись, видно было, что все эти манеры не его, будто он кого-то копировал, и поэтому думал над каждым движением. Все в нем казалось неестественно, натянуто.

— А я с тобой хотел серьезно поговорить, Nadine.

— О чем? — перебила его Вольская.

— Да вот видишь ли, — и Вольский ближе подсел к жене, — на днях предполагается бал у барона.

— Опять! — с тоской произнесла Вольская.

— Ну да, опять. Так вот в чем ты будешь?

— В чем? Да в черном или голубом.

— Это, в котором ты была в благородном собрании, да еще к барону на бал, и в одном и том же платье. Нет, ты закажи себе другое. И знаешь, что-нибудь такое поизящнее, поэлегантнее, ну такое, понимаешь, *bon ton*¹.

— Здравствуй, папа, — вошел в гостиную мальчик с бледным, болезненным личиком.

— Здравствуй, мой милый, — произнес Вольский, подставляя свою щеку для поцелуя.

— Мама, я гулять иду, — обратился мальчик к матери.

Вольская крепко поцеловала сына.

— Какой ты сегодня бледный, — заботливо заговорила она, заглядывая в лицо мальчика. — Я слышала, ты всю ночь кашлял, уж идти ли тебе сегодня гулять?

— Нет, нет, мамочка, я здоров, пусти.

— Ну хорошо, мой милый, только оденься потеплее.

— Очень холодно на дворе? — обратилась она к мужу, который шагнул по комнате, с нетерпением ожидая, когда можно будет опять начать прерванный разговор.

¹ хороший тон (*франц.*)

— Холодно, да... нет, не очень, — не думая произнес он. — Так, Nadine...

— Сейчас, сейчас, — произнесла Вольская, — ну, иди, Коля, да скажи, чтобы тебя потеплее одели; ах, нет... — и Вольская быстро поднялась с места, — я сама тебя одену.

— Nadine, нельзя ли без этого? — строго остановил ее муж. — Вы мне нужны.

— Сейчас, сейчас... Miss, miss! — крикнула она, — оденьте Колю потеплее, *cache-nez*¹ непременно, в уши вату...

— Надя, — снова окликнул Вольскую муж.

— Ах, Боже мой, да сейчас, — с тоской произнесла та.

— Неужели нельзя устроить, чтобы всюду не самой соваться. Кажется, на каждого ребенка по две мамки и няньки, и ты все— таки всюду сама и сама, — с брюзгливым раздражением заговорил Вольский.

— Но, Nicolas, разве можно надеяться, не то что сама...

— Итак, видишь ли, — перебил жену Вольский, продолжая прерванный разговор, — барон должен быть у меня по делу, я его попрошу остаться на чашку чая. Ты, пожалуйста, оденься хорошенько, и чтобы было все сервировано хорошо, но только чтобы все это не носило вида, будто его ждали. Пожалуйста, будь с ним полюбезнее, он человек мне очень нужный. Будет он у меня завтра, часов в одиннадцать.

— Завтра! Но я завтра не буду дома.

Вольский в удивлении остановился перед женой.

— Кажется, можно дело отложить для такого случая.

— Не могу, завтра именины моего покойного отца, я всегда бываю в этот день в церкви, служу панихиду.

— Можно один раз не делать этого.

— Нет, я не могу, — решительно произнесла Вольская.

— Ну, если я говорю, что мне нужно, очень нужно, чтобы вы остались. Понимаете ли, что для моих служебных целей мне нужно, чтобы барон был у меня запросто... Тут надо ловить, пользоваться случаем, а вы... из-за каких-то глупых предрассудков... Вы должны помогать мне в подобных случаях... а вы просто мешаете, мешаете... — раскрасневшись от гнева и сильно возвышая голос, говорил Вольский.

— Хорошо, — тихо произнесла Вольская, — я остаюсь.

Вольский сразу смягчился.

— Ну да, Nadine, ты, право, бываешь возмутительна с твоим упрямым характером. Ведь невозможно же жить постоянно так, как там, в твоей излюбленной Тамбовской губернии. Надо помнить, что мы не в имении, что мы в столице, что имеем дело с людьми, с настоящими людьми, что уже прошло то время...

— И как я жалую его, то время, ту жизнь, — с грустной улыбкой произнесла Вольская.

— Ну да... да... ты привыкла, втянулась в ту мещанскую жизнь, в мещанскую обстановку, распустилась в ней, привыкла исполнять роль «хозяйки», чуть ли не няньки. Вот тебе после твоих «Липок» все и кажется натянутым, трудным. Но надо подтянуться, сжиться с этими людьми, с их жизнью... привычками... Надо знакомиться, развлекаться, составить себе общество... А тебя на каждый вечер, бал, чуть ли не на аркане тащить надо.

¹ шарф, кашне (франц.)

Вот уж три месяца, как мы тут, и ты не можешь выбрать себе никого по душе, от всех ты сторониться...

— Как не могу, я многих себе выбрала, но кто мне нравится, тебе не симпатичны. Вот мне нравится, страшно нравится жена твоего помощника, я с ней так сошлась, ты нашел это знакомство неудобным, неприлично заводить близкое знакомство с женой подчиненного, потребовал, чтобы я его прекратила.

— Понятно, смешно... Ты все каких-то там выискиваешь. Отчего же, например, не выбрать...

— Ну, кого же, по-твоему? — мягко произнесла Вольская.

— Ну хоть бы Салину, баронессу.

— Этих-то раздушенных пустышек! Да о чем я с ними говорить-то буду, о балах, костюмах, восхищаться их красотой?.. Все это хорошо раз, два, но постоянно...

— Вот, вот, опустилась, тебе и скучно с порядочными людьми, ты и сидишь, повеся нос, все чем-то недовольна, чего-то хочешь, хочешь...

— Чего я хочу? Разве я могу чего-нибудь желать? — с тоскливой улыбкой произнесла Вольская. — Разве я могу хоть что-нибудь сделать без того, чтобы не быть тобой проверена, остановлена? Я все должна делать, что ты хочешь.

— Однако, каким тираном вы меня выставляете, — полушутливо-полусерьезно произнес Вольский. — Неужели я так вас во всем стесняю? В чем же это?

— В чем? Ну вот хоть бы теперь; мы не больше часу сидим в этой комнате, и сколько раз ты меня остановил: не делай того-то, не делай этого...

— Что же это такое, например? — уже раздраженно покусывая губы, произнес Вольский.

— Как что? Я наняла учителя, ты его прогнал, безжалостно прогнал, я не хотела остав... да во всем, положительно во всем ты меня стесняешь, заставляешь, наконец, идти против самых моих заветных привычек, желаний. С детьми заниматься тогда-то, при том-то можно их звать, при другом нельзя...

— Ну, продолжайте, продолжайте, бедная, забытая жена!

— Nicolas, оставь этот тон; ты отлично знаешь, что никогда я забытой не представлялась...

— Как же! Несчастное, забытое создание! Не достаёт еще упреков, как ваша матушка, что мы не умеем жить, что я проматываю «женино» состояние; ну, продолжайте, продолжайте...

— Я тебе никогда ничего подобного не говорила.

— Не говорила, так будешь говорить! — багровея от гнева и сильно возвышая голос, произнес Вольский.

— Что я сказала тебе такого, чтобы заставить тебя так кричать? — тихо остановила Вольская мужа.

— Как же, помилуйте, упреки, сцены!

— Кто же их делает? Вольно же тебе так волноваться. Что я сказала? Попросила, чтобы мне хоть немного дали свободы, не стесняли бы меня в моих привычках, моих поступках...

— Значит, твои поступки так непозволительны, что должны кидаться всем в глаза, и надо тебя остановить!

— Мало ли что должно кидаться всем в глаза и что мне не нравится в твоих действиях, да я же молчу, — с тихим вздохом, пожимая плечами, произнесла Вольская.

— Что же это такое, скажите, пожалуйста, — вызывающим тоном произнес Вольский.

— Да ведь ты опять рассердишься, что же говорить.

— Ах, нет, пожалуйста, пожалуйста, я вас прошу, — иронически произнес Вольский.

— Да много, очень много; ну хоть бы это подражание во всем кому-то и чему-то, разве это не заметно? Мы должны казаться просто смешны... Барон купил себе серых лошадей, мы завели сейчас таких же; Салиной привезли какое-то необыкновенное платье, я должна делать себе такое же. Мы положительно перестали жить для себя, живем для «света», из своего дома делаем какую-то модную гостиную, чтобы не отстать от других, зазываем к себе каких-то графов и баронов, чуть не пляшем перед ними...

— Нет, нет, это невозможно! — закричал Вольский. — Ты не жена, ты Бог знает что! Тебе все равно, мужчины карьера... положение... Ты не друг мужу, ты враг, нет, хуже врага, хуже!..

И сильно хлопнув дверью, Вольский вышел из комнаты.

Молодая женщина глубоко, прерывисто вздохнула.

«И это жизнь, сегодня, вчера, завтра...»

Она подошла к окну и растерянно начала глядеть на улицу. В глазах ее стояли слезы.

А на улице суетня и шум: едут, идут, спешат куда-то. Вот пролетели сани с тысячными рысачками, и сейчас же скорой походкой, ежась от стужи, прошел старик: пальто все изорвано, сапоги худые.

«Как ему должно быть холодно в таких сапогах... И у того такие же были...»

Перед Вольской предстал Лавров, с честным, симпатичным лицом и в своем ветхом костюме.

«Бедные! И сколько таких несчастных, холодных, голодных... А она, в своем золоте? Разве она счастлива?» И на ее высокий корсаж упала светлая капелька.

ОН, ОНА И ВОДКА

Друг, друг желанный ты мой!
Кто беспокойному сердцу ответит?
Море любви ему в вечности светит,
Светит желанный покой!..

Он любил ее, но она его не любила... А может, и любила, но странно как-то вышло все это.

Говорили, что его и не стоило любить, но едва ли это правда. Он не был ни слишком умным, ни слишком глупым человеком, т.е. был как раз создан для любви. И действительно, всю почти жизнь он служил ей, как иные служили мамоне, а иные Богу. Только и служил он так же несуразно, как и жил.

У него не хватало винта. В голове ли, или в ином месте, но не хватало. Это было крайне неудобно. Все у него шаталось, скрипело, падало и одно мешало другому. Были у него таланты, но лишь станет он их разрабатывать, ум говорит:

— А ни к чему все это.

К черту таланты. Начну развивать ум, ан таланты наружу лезут и такой производят в уме кавардак, что не то он ученый, не то художник чистого

искусства, не то просто черт знает что. Знакомые, родственники и друзья сперва возлагали на него надежды, потом стали удивляться, а под конец махнули рукой. А был ли он виноват, что мать-природа приготовила его, как молодая кухарка кушанье готовит: и мяса вдосталь, и корешков — совсем бы хорошо, да посолить позабыла!

Долго жил он таким образом и все больше развинчивался, пока совсем невмоготу стало. Ничему он не верит, ни на что не надеется, а себя ненавидит. Ненавидит также и презирает людей — как это вообще свойственно натурам талантливым, но плохо выпеченным. Встретит в сухую погоду добродушного человека в калошах и с зонтиком: — «Наверно пошляк!» — думает он и дня два чувствует тоску. И одолела его хандра, такая свирепая хандра, что, будь он англичанином, он зарезался бы. Но он был чисто русским и потому купил бутылку водки. Стал ею резаться; резался, резался — скучно стало. Да и друзья, родственники и знакомые, а больше всего незнакомые начали возмущаться: сидит человек и пьет!

Попробовал он служить мамоне — бросил. Затем поочередно бросал науку, литературу и искусство, пока нечего стало бросать.

Дядя сказал ему, что остается еще служение человечеству, но он меланхолично ответил:

— Давно заброшено, и так далеко, что и я дальше не заброшу.

Пил он, пил водку — надоело. Яблони цвели; воздух благоухал; луна светила, природа требовала жизни и любви, и в каждом темном уголку сидела парочка.

— На то я и царь природы, чтобы стоять выше ее слабостей, — сказал он и решил резаться. Вынул бритву и...

— А впрочем, стой! Иногда полезно следовать своим слабостям. В общем женщина — зло природы, но в частности любовь двигает горы. Должна же быть хоть одна женщина, которую стоит любить. Эта женщина спасет меня.

Начал он искать женщину. Она сейчас же нашлась. С великим изумлением и радостью он воскликнул:

— Сударыня, да я вас искал!

Она ответила:

— Очень приятно.

Любовь началась, продолжалась и благополучно кончилась. Жития ее было 3 месяца.

Он купил новую бутылку, уселся на своих развалинах и стал пить, сказавши:

— Нет, не та...

Сидел он и пил, пока не стало скучно.

— Пойти разве еще поискать? — подумал он. Отправился и опять тотчас же нашел. Это была удивительная женщина. Она могла любить трех сразу. Когда он узнал об этой способности, он сказал:

— Сударыня, прощайте.

Она ответила:

— Сударь, до свидания.

Водка, потом третья женщина. Эта была еще удивительнее. Она не могла любить ни одного, но так как в ее года принято любить, то она с успехом подражала. Но в одном случае у нее не хватило образца, и он догадался, что-то была не любовь, а подражание. Он вежливо раскланялся, а она, не понимая, в чем дело, обиделась.

Общественное мнение также обиделось, не понимая, в чем дело, и назвало его человеком вредным и опасным.

— Нет, к черту женщин! — сказал он себе, сидя в трактире за полбутылкой водки и слушая, как машина нажаривала попури из «Жизни за Царя». Ему хотелось поговорить, но не с кем было. Как и у всякого, у него были душевные друзья, но однажды он заметил, что, когда он говорит о себе, друзья засыпают, а когда они о себе — он засыпает.

— К черту женщин! К черту Платона с его сказкой о двух половинках! Как и вера, любовь — отрицание разума. Да здравствует Шопенгауэр!..

Рюмку водки и бутерброд!

Но к черту женщин он не послал. Они подобны подсолнухам; раз станешь лущить (грызть), потом трудно отстать. Да и к тому, чем хуже встречались ему женщины, тем более росла в нем вера, что есть та, которая нужна ему.

И вот начал он менять их, одна за другой, чередуя с рюмкой водки и бутербродом. Довольно долго это продолжалось.

Общественное мнение возмутилось окончательно. Несколько знакомых перестали кланяться; проснулись двое друзей и потребовали назад свою дружбу.

Но и он также возмутился. Его жертвы утешались весьма скоро, а у него после каждой любви душа бывала в таких лохмотьях, как будто ее собаки изорвали. Под конец уж и зарастать перестала. Поэтому он вздохнул и даже, кажется, плюнул, вынул бритву, тщательно поправил ее на ремне и... Но тут... удивительные шутки шутит иногда судьба.

...То было в лесу, в зеленом веселом лесу. Ярко светило солнце, ласково шелестели вершинами деревья; одуряющие испарения подымались от нагретой земли. И в ореоле солнечных лучей, в блеске и свете яркого дня явилась пред ним она — та, которую он искал, та, для которой безумною силой забилось его больное, измученное сердце. Лились, трепетали звуки чарующей песни, и заслушались их и голубое спокойное небо, и веселый зеленый лес...

Странное то было существо. Поэт старых времен затруднился бы охарактеризовать ее. Ни ангелом, ни демоном нельзя было ее назвать — но было в ней и черта немножко, и немножко ангела, и нельзя было разобрать, где кончался один и начинался другой. Наивна она была как ребенок, жестока, как могут только быть жестоки дети, и ласкова, как только может быть ласкова женщина. У нее было доброе сердце, но если бы перед ней умирал человек и, умирая, корчил смешные рожи, она захлебнулась бы от смеха. Плакала и смеялась бы.

Почему она была та, которую он искал, он сам не знал. Он даже другой представлял себе искомую женщину, и все-таки был уверен, что это она. Все в ней нравилось ему, не было ни одного темного пятнышка. Раньше другая напишет в письме «крепко» через «е», он не знает, куда деваться от досады. А если б она написала «крепко» через «е», он и это нашел бы восхитительным. Ему нравилось даже, как она сморкалась.

Неважно, как они познакомились и что, познакомившись, говорили. Важно, что через три дня он заявил ей, что он ее искал, нашел и любит.

Она спросила:

— Правда?

Так как ночь была темная, он не имел возможности поклясться луной и звездами и ответил:

— Правда.

Затем она сказала, что любит, а он удивился и спросил: правда? и услышал ответ: правда. Значит, не было сомнений в том, что они любят друг друга.

На один короткий миг ее ручка обожгла своим прикосновением его руку и выскользнула из нее, как мечта, как сон. И не знал он, было ли то правдой, или лес и ночь своим чарующим дыханием усыпили его. Они были полны призраками, эта ночь и лес. Кругом слышался легкий неуловимый шелест; лицо задевали чьи-то легкие и ласковые крылья; чье-то горячее дыхание колебало листья. Все жило и любило и радовалось; действительность была сном, и сон действительностью.

И много дней провел он в этом сне, ибо не было никого, кто ушипнул бы его за нос и разбудил. Но не нужно думать, что он только смеялся во сне. Ему случалось плакать и очень горько. Однажды он омочил таким образом три платка. Дело в том, что чертенок в ней нет-нет да и выскочит.

Раз как-то она три дня скрывалась от него, и когда встретились, сделала вид, что почти незнакома с ним, и назвала его другим именем. В другой раз была очень ласкова; воспользовавшись этим, он стал рассказывать ей про свое горе. И только что он дошел до самого интересного места, она рассмеялась, и смеялась так долго и весело, что он чуть не заплакал. Как в том, так и в другом случае причины объяснить отказалась. Бывал он и на седьмом небе и даже выше. Он поцеловал ее, и она ему ответила. И была такая тихая, кроткая, совсем неузнаваемая. Загадочно смотрели ее глазки, и не мог прочесть он в них своей гибели.

Наоборот, он думал, что спасен. Он видел впереди другую жизнь, полную счастья, света и любви. Он почувствовал, что у него явились неведомые силы, и решил, что винтик нашелся.

Не тут-то было. Он забыл про общественное мнение, но оно про него не забыло. «Он такой, и она такая! Нет! нет!»

У нее были родители и, как свойственно родителям, слушались голоса общественного мнения. Она же была покорная дочь. Поэтому она сказала:

— Прощайте и простите.

Он растерялся и ответил:

— Прощайте.

Орган нажаривал попури из «Жизни за Царя». Он сидел, пил водку и соображал: она ли не та, или он не тот. И долго соображал он это и не мог сообразить. Шли дни, недели, а он сидел и соображал. Кончилось дело тем, что он увидел чертика, такого зелененького и маленького: сидит и язык ему показывает.

Когда кончилась возня с чертями, у него несколько просветлело в голове.

— Она знала, что она для меня, — и простилась со мной. Значит, она не та. Забудем ее. Глупо стрелять из пушки по воробьям.

Но он не забыл ее. Он тысячи раз вспоминал дни своего счастья и малопомалу отделил ее прежнюю от ее настоящей. О настоящей он не думал. То была другая женщина, чуждая, непонятная ему. А прежняя стала для него полубогом. В мечтах о ней находил счастье. И он знал, что это мечта. Он понимал, что, подойди он к ней поближе, разлетится мечта как дым, увидит он грубо намалеванную картину и краски и полотно.

Но мечта ли то была? Он видел ее, живую ее. Вон сидит она, облокотившись на стол, поднимает глаза от книги и задумчивым, невидящим взором смотрит вдаль. «Быть может, наши взоры встретились», — думал он и удивился своей глупости.

«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», — сказал Пушкин и взлез на памятник.

Так он жил и мечтал о ней, и когда его слишком тянуло к ней, он говорил себе:

— Разве ты не знаешь, что ее нет?

Он был молод, и жизнь взяла свое. Он встретил красивую девушку, увлекся ею и женился, думая: «авось проживу как-нибудь, дотяну до конца. Может, жена заставит забыть мечту, может, помимо любви найдется винтик».

Расчет не оправдался. По-прежнему чего-то не хватало у него и он коптил небо и хандрил. По-прежнему мечта владела им и заставляла временами ненавидеть жену. А та была женщина кроткая, простая, любила его бесхитростно и больше занималась его носками, чем его душевным состоянием. Прошел год. Он жил в другом городе и ничего не слышал о своей мечте.

В один вечер приехал из того города его друг, тот самый, который засыпал всегда при его рассказах. Между прочим, в невинности сердца говорит:

— А она, знаешь ли, сильно убивалась о тебе.

— Пустое!..

— Нет, не пустое. Я и сам говорил о ней, и другие передавали; страх что такое было. Заболела даже.

— Это когда же было? — спросил он, улыбаясь, но бледный.

— А когда ты чертей ловил и потом из города уехал.

Потом друг попросил водки, и они напились. Жена плакала.

Через день друг уехал.

Вот тут-то и началось самое скверное. Она любит! Значит... Нет, это невозможно, это слишком ужасно! Значит, не мечта она, значит, мог быть он счастлив, и жить, и любить, а он... Пропало, пропало все!

Любовь проснулась в нем с небывалой силой. Он ходил дни и ночи и думал о ней. Это походило на сумасшествие. Она теряла формы, реальность. Она сливалась с воздухом, она проникала в тело, она была во всякой вещи, которую он видел. Он уже не представлял себе ее лица, улыбки. Представление о ней, что представление чего-то бесформенного, ужасного, что надвигалось на него, опутывало, присасывалось, как осьминог, давило, как кошмар.

И вот он написал ей. Рассказал о своих мучениях и спрашивал, вправду ли мучилась и она. Ответ получился скоро:

«Да, я любила вас сильно, как никого не полюблю никогда. Мне запретили видеться с вами; я не хотела, я не могла послушаться, дорожа спокойствием и здоровьем близких. Не дешево досталось мне это. Вы уехали, женились потом — я успокоилась и — простите — стала забывать о вас. Напрасно расшевелили вы это прошлое, оно не может вернуться. Вы женаты, я люблю другого. Забудьте о моем существовании».

Он даже смеялся, прочтя письмо.

«Так вот как, забудьте! Когда заживо погребенный, придя в себя, борется со смертью, напрягает легкие, чтобы захватить хоть каплю воздуха, разрывает ногтями грудь, грызет пальцы, не понимая, не сознавая ничего, весь обратившись в одно смертное желание, в одну мысль: воздуху, воздуху! — ты советуешь ему забыть о воздухе. Пойми, что ты необходима, необходима мне... я гибну без тебя...»

И он заплакал и стал вправду царапать грудь и рвать волосы. Когда образовалась порядочная плешь, он успокоился и стал хладнокровно сообщать. Курьезные то были соображения.

«Я не могу без нее жить и должен убить себя. Но я убью себя, а она будет жить и любить другого. Другого!..»

(Выврано несколько волос.)

«Нет... Пока ты не полюбишь, не полюбила другого, я могу спокойно сравнительно жить вдали от тебя, но если другой...»

(Еще несколько выврано.)

«Я убью и тебя. Ты отдана мне судьбой, и в могилу унесу я тебя. Забыть... она любит другого... Нет, нет. А жена? Тьфу, жена!»

И вот, обдумавши хладнокровно, он решил убить ее и себя. Обычно у него решение не переживало и одного дня, но на этот раз устояло. Любовь двигает и горы.

Откуда-то у него взялась хитрость и изворотливость. Он успешно обманул ничего не подозревавшую жену и уехал в город, где жила «она». Там он пил водку и искал случая. Видел между прочим и «его», другого. Волос на голове почти не осталось.

Наконец...

...Он поднялся на цыпочки и заглянул в окно, в ее окно. Оно было завешено изнутри, и он ничего не увидел; но вот под пальцами подалась рама.

«Не заперто!»

Вот он на подоконнике. Брехнула собака. Он разом отдернул занавеску и увидел ее. Она спала, тихо и безмятежно, как ребенок. Алели ее чистые щеки и полуоткрытые уста, под глубокою тенью ресниц, казалось, блистали задумчивые, не лгушие глазки. Спутавшиеся кольцами волосы рассыпались по девственно вздымавшейся груди.

Он осторожно прыгнул в комнату и подошел к ней. Наклонясь над изголовьем, он устремил тяжелый, неподвижный взор на ее лицо. Под влиянием взгляда она зашевелилась, вздохнула и открыла глаза.

— Ты!. — тихо прошептала она и снова заснула, тихо и безмятежно, как ребенок.

А он выпрямился, провел рукой по лбу, недоумевающим взором обвел комнату, взглянул на револьвер, на нее... и тихо пошел к открытому окну. Там он еще раз взглянул на нее и выпрыгнул.

Пролетели года. Он пил водку, однажды пьяный подрался с мастеровыми, был сильно избит и через два дня умер. Жена раньше куда-то ушла от него. А она жила еще дома, была счастлива и имела многочисленное потомство. Старший сын ее учился в гимназии — хороший, говорят, малый.

ЗАГАДКА

Болотин гордился прямолинейностью и твердостью своих убеждений.

- Уж я что знаю, то знаю, во что верю, в то верю — не то, что вы, господа, «вскую шаташася», — говаривал он товарищам — студентам.

И это была правда.

Большинству студентов он внушал уважение и даже некоторую боязнь, хотя был человеком далеко не суровым. Скорее он отличался чисто болезненной добротой и отзывчивостью. Видя несправедливость, страдал иногда больше, чем сам обиженный. Рослый, здоровый, добродушный, — одним своим видом он прогонял беспредметную скуку, томившую молодость, принося с собой чувство нравственной чистоты и здоровья. Был, однако же, предел, за которым кончались отзывчивость и понимание Болотина. Все, что было вне его символа веры, оставалось ему чуждо и непонятно. Некоторые считали его ограниченным человеком, хотя порой и сами сомневались в этом.

В университете стряслась беда. Было выслано много студентов, среди них и Болотин. Целые три года предстояло ему выжить в глухой провинции, от которой он давно отвык.

— И черта я там делать буду? — размышлял он, стоя на площадке вагона. Поезд грохотал, неслись, кружились и падали искры.

Представилась ему картина провинциальной жизни с картами, водкой и амурничающей молодежью.

— Э, да что тосковать: не звери ведь живут. А коли и звери, буду укрощать их, как Орфей, игрой на арфе. Много там дичи, много — авось хоть искорку света внесу и я в темное царство...

Всю ночь простоял он на площадке, размечтавшись об этой «искорке». Посветлело у него на душе, и три года изгнания казались тремя днями.

Вот и родной город. Он едет на извозчике по знакомым улицам и с радостным чувством смотрит на все. Поспешно прошел мимо сутуловатый гимназист с книжками, за ним другой.

— Эх, ребята!.. — произнес Болотин, любовно следя глазами за серой фигурой.

Дома встретили его с радостью. Отец, гордившийся им и крайне уважавший всякую «умственность», не осмелился выговаривать Сереже, а мать была рада сыну, как и всякая мать. Он был у них один.

— Ты, брат, не робей. Отдохнешь, а там и работки достанем, — сказал отец.

— Ладно, ладно, старичок мой милый! — засмеялся Сергей, целуя щетинистую щеку отца.

Жизнь скоро вошла в колею. Вначале Сергей только и делал, что отсыпался да отъедался, а в промежутках воевал с отцом. Старик был характерный. В спорах соглашался, а поступал по-своему.

— Мы люди старые, Сережа, — говорил он с тихой улыбкой, когда тот укоризненно, без слов качал головой.

Завязались мало-помалу знакомства. Люди были как все люди в провинции. Старики толковали о службе и играли в винт; жены сплетничали и ругали детей и кухарок, а дети занимались кто чем. Дочки наряжались, читали романы и влюблялись; были, впрочем, и такие, что о курсах мечтали. Сыновья или играли в лошадки, или, постарше, читали Майн-Рида, Писарева и ухаживали за гимназистками. Были среди них, как признак времени, пессимисты, всегда мрачные и торжественные и свысока относившиеся к остальным.

Старики сперва косо посматривали на Болотина, ибо некоторые принимали его за Базарова, еще не устаревшего в провинции. Потом, видя, что он грубостей не говорит и одевается чисто, успокоились. Он стариков и не трогал, а пристроился к молодежи.

Гулял он как-то в общественном саду с двумя гимназистами. Один был пессимист, но лишь недавно посвященный и потому часто срывающийся, другой — совсем зеленый юнец, жадно внимавший каждому слову Болотина.

— Люди — скорпионы, заключенные в банку, — сказал пессимист.

— Вас ужалил кто-нибудь?

— Никто меня не ужалил, а только жизнь — нелепость.

— Все это, голубчик, от безделья.

— От безделья? — вспыхнул гимназист. — Сказали бы вы это Евгении Дмитриевне, она бы вам ответила.

— Батюшки мои, пессимистка! Первый раз слышу. Значит, скверно дело, коли и женщины, с их великим запасом веры и любви, ударились в хандру. Вы не знаете этого чуда? — спросил Болотин у юнца.

— Знаю. Барышня ничего, только слишком важничает. И отчаянная какая-то.

— Познакомьте-ка.

* * *

Два черных глаза пытливо и с насмешкой взглянули на него с бледного лица.

— Это вы здешний Базаров? — спросила Евгения Дмитриевна, протягивая руку.

— Вот вы какая... — сказал вместо ответа Болотин, внимательно и добродушно вглядываясь в нее.

Она засмеялась и предложила место возле себя. Завязался оживленный разговор.

С этого дня началась между ними борьба. Евгения Дмитриевна была умнее, живее и остроумнее в выводах, но он — начитаннее и, главное, убежденнее. Вера столкнулась с отрицанием, и вера должна была победить, тем более что отрицание на этот раз выбрало себе совсем неподходящий сосуд. Евгения Дмитриевна отрицала лишь потому, что ей слишком хотелось верить.

Начитавшись и плохих, и хороших романов, она искала необыкновенных людей, необыкновенных чувств. Величие, сила стали ее идеалом. Провинция же давала только тех людей, которые «фабрикуются тысячами», по выражению Нордау.

Она стала презирать их, брезгливо отворачиваясь от жизни и углубляясь в себя. В себе она нашла зародыши низких мыслей и чувств; мысленно развивая их, возводя в квадрат, она стала презирать себя. Отсюда один шаг к повальному отрицанию. Но это было скорее не отрицание, а великая каша. Культ Наполеона уживался с отрицанием всего великого в природе человеческой; апология смерти с страстной жадной жизни. Будь она глупее, она, как и сотни, ей подобных, нашла бы своего Наполеона в подпоручике Жеребцове или просто скучала бы и кисейничала, но ее пылливый, живой ум не мог помириться с безжизненной унылой спячкой. Резкостью и парадоксальностью своих взглядов она ужасала стариков и привлекала к себе зеленую молодежь, образовавшую вокруг нее что-то вроде школы.

Учеников своих она третировала и часто с непонятным для них раздражением разгоняла их.

— Ничего, ничего вы не понимаете! — кричала она, и непонятные слезы блстели на ее глазах.

— Шальная, совсем шальная! — говорила особа, жившая у них в доме и заменявшая умершую мать, а отец молча поднимал брови и уезжал в клуб.

Сопротивлялась она Болотину со страстью, с ожесточением, но не долго.

— Эх, Евгения Дмитриевна, — говорил он, — не той меркой вы меряете людей, как нужно. По вашей мерке, тот великий человек, кто больше людей погубит. Нет, вот великие люди...

И он называл ей имена истинных благодетелей человечества, рисовал величавую картину, в которой сотни, десятки незаметных личностей реформировали человечество, создавали прогресс, науку, давали жизнь, и свет, и свободу страдающим людям.

Он говорил красноречиво, ибо верил в то, что говорил. Горели глаза Евгении Дмитриевны, и проносились в голове смутные образы людей-пигмеев, ворочающих горы, рисовалось человечество счастливое, радостное, благодарное, подносящее венки своим избавителям.

— Знаете, раз я хотела даже отравиться... — говорила как-то она в минуту откровенности.

— Ну и что ж?

Она улыбнулась.

— Страшно стало... Нет, дрянь я, дрянь человечешко, — прибавила она со злостью и отвернулась.

— И не дрянь вы человечешко, а просто здоровый человек, которому смерть противна.

Так говорили они, спорили, раза два поругались — и сговорились. Школа была разогнана, а они составляли планы будущей совместной жизни. Любовь пришла незаметно.

— Вот так штука! — сказал ей Болотин, — я ведь вас люблю, оказывается!..

Она задумчиво стряхивала пыль с платья и молчала.

— Ну-с, Евгения Дмитриевна?

— Что же тут удивительного? — ответила она.

— Ну а вы-то?

— Не знаю... Люблю, кажется. Да, люблю.

Она давно заметила, что дело идет к любви. Но любила ли его, не знала. Временами он ей нравился, временами что-то в нем злило ее.

Болотин бывал уже у них в доме. Особа, привыкнув к своеволию Евгении, не обращала на него внимания, а отец бывал или в банке, коего был директором, или в клубе. У Евгении Дмитриевны был брат, офицер, также редко сидевший дома. На Болотина и сестру он смотрел как на юродивых и при встрече обыкновенно спрашивал:

— Ну, как ваш Дарвин?

А у сестры:

— Ну а твой, как... как его там... Шопенгауэр? — не подозревая, что Дарвин давно уже подружился с сумрачным философом. Когда же ему хотели отвечать, он отмахивался руками и уходил.

Бывал еще в доме Занегиных товарищ брата, офицер Торобьев, длинный и мрачный. Было очевидно для всякого, что он до потери рассудка влюблен в Евгению Дмитриевну. Ей он нравился.

— Он для меня настоящее *memento mori*¹, — говорила она Болотину.

Последнего Торобьев презирал, хотя слушал всегда внимательно и, приходя домой, вынимал из стола папироску и что-то записывал. Тетрадка носила заглавие: «Руководство к жизни, составленное по моим личным наблюдениям».

С самого объяснения Болотин почувствовал себя неладно. Было хорошо... но слишком, пожалуй, хорошо. Прежняя страстная ненависть к притеснению и несправедливости как-то сгладилась. Любовь к человечеству как будто увеличилась, но в человечестве он видел почти одну Евгению.

— Эка размягчает как эта дьяволова любовь!.. — думал он, ероша волосы. — Ну да это напередки, а там обойдется...

Незаметно для себя он подпал под влияние Евгении Дмитриевны. Во взглядах своих он не замечал никакой перемены, но относительно «чувствований» находился в полной от нее зависимости.

— К тебе, ей-богу, не прировнишься, — говорил он сокрушенно. — Вчера смеялась и о деле говорила, а нынче опять свою мизерикордию зянула... Ну, вот и слезы. Эх!..

— Ну, не буду.

Она улыбнулась, но тотчас же глаза снова наполнились слезами.

— Какой ты... жалкий.

— Фу ты, Господи, и чего не придумает! — развел он руками, улыбнулся — и огорчился.

Сидели они в саду над рекою. Была ночь, июльская ночь. Над головой темное, бездонное небо, яркие звезды, манящий к себе серп месяца. Воз-

¹ помни о смерти (лат.)

дух и нежит, и ласкает; весь бы, кажется, вдохнул в себя... Хочется сжать в своих объятиях весь этот бесконечный мир: и луну, и звезды, и землю.

Природа — женщина в такие дни и ночи. Безумно любишь ее, таинственную красавицу, весь горишь восторгом любви, и вместе с тем глубокая скорбь, жгучая тоска закрадываются в сердце. Она не принадлежит тебе, эта загадочная красавица; она скрывает лицо свое, она неуловима, как мечта, как лунное сияние; она вокруг тебя, она в тебе, — но она тебе не принадлежит. Ты не знаешь, кто эта красавица, не знаешь, где она. Она везде и нигде; она никто — и весь мир. Но всеми силами души любишь ты ее, страстно хочешь и знать ее, и видеть, и ласкать.

— Ну, совсем размяк... — произнес Болотин и тяжело вздохнул. — А хорошо, Женя, жить на свете!

Евгения Дмитриевна, перебиравшая рукой его волосы, приподняла слегка голову с его плеча и устремила на него глаза, темные и бездонные, как небо.

— ...Нет, я тебя люблю. Ты милый, хороший.

— Seriously?

— Seriously.

— Не понимаю.

— И не надо.

И они оба рассмеялись.

На несколько дней Болотин засадил себя дома. Много накопилось нужных писем, да и так, хотелось с мыслями собраться.

В это время в городе случилось неожиданное событие. Застрелился тот самый гимназист, который когда-то утверждал, что все люди — скорпионы. Это была одна из тех преждевременных и непонятных смертей, которые как громом поражают спокойно дремавший муравейник.

— Как, за что, почему? — восклицают в тяжелом недоумении люди. — Так молод...

Да и чудно как-то застрелился он. Завел со знакомым доктором разговор о том, где находится сердце, попросил даже очертить его, — а вечером пустил пулю в это сердце.

Тело должны были пронести мимо квартиры Болотиных. Сергей сидел и писал, когда послышался медленный, тяжелый трезвон колоколов и еле слышно донеслось заунывное пение. Он подошел к окну. День был жаркий, безоблачный; откуда-то пахло вареньем. Из окон выглядывали любопытные лица.

Прошло духовенство, певчие. Показался, медленно колыхаясь, гроб. Плавко колыхался мертвенно-бледный, почти детский профиль; прозрачные руки сложены на груди, и не верилось, что одна из них совершила это великое и таинственное дело. Гроб несли товарищи-гимназисты. Одни были угрюмы, другие несколько горделиво посматривали на толпу, как бы говоря:

— Наш товарищ, а какую штуку выкинул!

Двое сзади о чем-то перешептывались. За гробом шла мать, совершенно убитая, и отец, ежесекундно поправлявший крест на груди. В толпе провожатых слышался тихий, настойчивый плач ребенка. Шла и Евгения Дмитриевна, рассеянно теребя конец траурного вуаля.

Скрылся гроб, провожатые. Еще раз донеслось «Вечная память», причем необыкновенно выделялась какая-то здоровенная октава:

— ...па-а-мять...

Поспешно проковыляла старушка нищая, боявшаяся опоздать к раздаче милостыни. Улица опустела и затихла.

— Ни за грош пропал малый! — подумал Сергей, отходя от окна. — Ну разве можно убивать себя при этом? — взглянул он на открытое в сад окно, за которым колыхались и шелестели зеленые листья и раздавалось неумолчное жужжание.

— Можно, — выскочил откуда-то ответ, и неизвестно отчего сжалось сердце.

— Фу, дьявольщина, как нервы развинтились, — плюнул Сергей и уселся писать. Вечером он пошел к Занегиным.

— Ну что, что, видели? — заговорила Евгения Дмитриевна, едва только увидав его. — А вы изволили утверждать, что «такие» пессимисты не убивают себя!

— Что ж! глупее, чем я думал.

— Глупее! — вспыхнула Евгения Дмитриевна. — Не диво, когда вас другие на веревке вздернули, а вот вы сами, сами попробуйте убить себя. Пороху не хватит, милейший.

Болотин ответил ей, что для веревки, пожалуй, нужно больше пороху, чем для револьвера, что он собственно не понимает, из-за чего она поднимает содом.

— Скажите, Сергей Иванович, почему это я понимаю вас, а вы меня нет? — спросила Евгения Дмитриевна, разом успокаиваясь и задумчиво смотря на него.

— Нет, я понимаю вас.

— Нет, нет. Все это не то, не то...

Весь остальной вечер она была рассеянна и почти не слушала лавровских «Писем», которые читал Болотин. На его вопрос, что с ней, ответила, что это так, голова болит, и она сама не знает что.

— Не беспокойся, милый, не сердись, это пройдет.

— Уж не о гимназисте ли ты сокрушаешься?

— Нет. А впрочем, да.

— Не стоит. Такого самоубийцу я считаю дезертиром из великой армии людей-рабочих или слабовольной, бесхарактерной дрянью.

— Безвольной? А ты читал, как один убил себя? Подставил под железные прутья кровати зажженную свечку и лег на кровать так, что пламя приходилось как раз под спинным хребтом... Как ты думаешь, легко было умирать ему? А он еще вставал и записывал, что чувствует.

— Сумасшедший.

— Значит, или дезертир, или дурак, или сумасшедший?

Прощаясь, Евгения Дмитриевна по обыкновению поцеловала его, но это был холодный, безжизненный поцелуй.

В полном раздумье вышел от нее Болотин и первый раз, придя домой, не поужинал, а улечься, долго не мог заснуть. Промелькнул бледный профиль, и опять неведомо отчего сжалось сердце. «Психопатиться начинаю», — подумал Сергей. Перевернул на другой бок горячую подушку и наконец заснул.

И «это» не прошло, но с каждым днем становилось все хуже и хуже. Болотин не понимал, да не понимала, кажется, и сама Евгения Дмитриевна, что это такое. Ничего не произошло, а вместе с тем между ними появилась стена. По-прежнему рассуждал Болотин, по-прежнему слушала его Евгения Дмитриевна и спорила с ним, так же строились планы будущей жизни, но все это было не то. Чувствовалась какая-то фальшь, что-то недосказанное. Как будто самоубийца-гимназист унес с собой их счастье.

— И при чем он здесь? — со злостью спрашивал себя Болотин, представляя и гроб, и колыхающийся бледный профиль.

Пробовал он несколько раз возвратиться к разговору о самоубийстве, думая этим путем разъяснить дело, но Евгения Дмитриевна разговора не поддерживала и равнодушно соглашалась.

Из постоянного ровного человека он сделался раздражительным, нервным; побледнел, похудел. Не давал покоя вопрос: что «это» такое?

Спрашивал у Евгении Дмитриевны, но та отвечала:

— Не понимаю, о чем ты говоришь?

И он думал: «Действительно, о чем?» — и казалось, что ничего не было, а через минуту он снова возвращался к той же мысли.

«Уж не думает ли она, что я боюсь смерти?» — пришла ему однажды мысль. Оказалось, что она этого не думает.

«Ну что же, что же такое, наконец?! Ведь не психопат же я в самом деле. Да и она очевидно мучается, значит, есть что-то. Но что?»

И он не мог понять и мучился, следя за каждым словом и движением Евгении Дмитриевны.

Прошло лето. Наступала скверная, дождливая осень. С неведомой красавицы текли румяна и белила. По улицам изредка прошлепают калоши да прогромыхает и проскрипит мокрый извозчик. Однообразно и уныло тянулись дни — тянулись, как касторка, по выражению местного аптекаря.

В один день отец Сергея, придя со службы, принес радостную весть. По ходатайству его старого знакомого, лица влиятельного, Сергеем было разрешено вернуться в университет. Сергей поругал слегка отца за «унижение», но в душе был страшно обрадован и весь день был весел, оживлен и шутив по-прежнему.

— Мы люди старые, Сережа, действуем по-старому, — говорил отец, лукаво подмигивая жене. Их давно тревожил мрачный вид Сергея и, приписывая его тоске по университету и товарищам, они по целым ночам составляли различные планы.

Обрадовалась и Евгения Дмитриевна и была так ласкова, искренна и задушевна, что Сергей не мог понять своих мучений. Обоим рисовался шумный, оживленный город и кипучая жизнь, полная труда и молодого веселья. Ему, кроме того, мелькала минутами мысль, что там «это» пройдет совсем, а ей — люди-пигмеи и венки.

— Какая ты нынче хорошая, милая, — говорил он, целуя Евгению Дмитриевну, — и как сильно, как безумно люблю я тебя. Ты не поверишь, как я измучился...

— Оставь, оставь, — прервала она, ласковым движением приложив руку к его губам.

— Итак, завтра, значит, обращаемся к твоему родителю, обвенчаемся поскорей и айда!.. Эх, как буду любить и нежить я тебя, коза ты моя непорочная!..

Они не подозревали, что разговор их слышал Торобьев. Он сидел в соседней комнате, когда через полукрытую дверь донеслись звуки поцелуев и отрывочные фразы. Ему и раньше случалось быть свидетелем этих звуков, и он деликатно уходил даже из комнаты, но на этот раз одна фраза остановила его внимание.

— Когда же мы, значит, уедем? Недели через две, что ли? — говорил голос Болотина.

— Нет, едва ли успеем все устроить, позже... — отвечала Евгения Дмитриевна. Из дальнейших полуфраз Торобьев понял, что Болотин имел намерение увезти Евгению Дмитриевну и обмануть. Осторожно, на цыпочках вышел он из комнаты и поспешно зашагал к военному собранию. Там вызвал Занегина и, таинственно отведя в угол, сказал:

— Юрий Дмитриевич! Вам грозит беда.

— Мне? — удивился Занегин, вытирая платком выпачканные в мелу пальцы. — Беда?

— То есть сестрице вашей. Господин Болотин намерен ее обесчестить.

Торобьев передал слышанное. Выходило что-то ужасное. Занегин, слушавший сперва недоверчиво, под конец поверил. Особенно убедили его звуки поцелуев и вытянутая до крайности физиономия Торобьева.

— Мне и раньше случалось их слышать, — говорил Торобьев.

Юрий Дмитриевич, не отличавшийся, как и сестра, кротким характером, вспылил:

— Так чего же вы, черт вас возьми, не сказали об этом!

— Не имел права-с. Теперь другое дело, Юрий Дмитриевич! Ваш папаша человек слабый. На вас священный, так сказать, долг защитить... предохранить... ну и так далее.

Занегин с некоторым даже чувством удовольствия при мысли, что он единственный защитник сестры, и вспоминая «Фауста», решил тотчас же ехать домой и засуетился, отыскивая пальто и шашку, но Торобьев благо- разумно посоветовал отложить расправу до следующего дня.

— Скандал ночью подымете, нехорошо, — говорил он, — а завтра господин Болотин будет днем у вас, я слышал.

«Ну, я ему покажу... Дарвина, — думал Юрий Дмитриевич, с ожесточением загоняя в угол красного. — Я ему покажу!..»

— Карамболь по желтому!

Утро следующего дня Болотин провел в некотором волнении. «А вдруг отец заартачится? — размышлял он. — Хоть его, положим, не касается... Главное, приданое, кажется, есть...»

Часам к трем он отправился к Занегиным и очень решительно вошел в гостиную. Евгения Дмитриевна была одна.

— Слушай, что это с братом такое? Весь день мрачен, крутит усы, со мной ни слова...

Болотин усмехнулся.

— В карты продулся, вероятно.

— Нет-с, милостивый государь, не в карты-с... и попрошу вас, мил- дарь, удалиться из дома, — раздался голос Юрия Дмитриевича, быстрыми, энергичными шагами вошедшего в комнату. — А вы, сударыня, постесня- лись бы говорить «ты» всякому... всякому...

— Позвольте, что это значит? — растерялся Болотин.

— А то значит, что я не позволю вам заводить здесь... Сестра, уйди! — возвысил он голос, но Евгения Дмитриевна осталась неподвижна.

— Да объясните же...

— А, вам объяснить, — захлебнулся Занегин, — объяснить! Вы... под- лец, милостивый государь, негодяй. Вон!

— Вы с ума сошли, — сказал Болотин, бледнея.

— А, с ума, с ума... Так вот же вам! — быстрым движением Юрий Дми- триевич подскочил к нему и, широко размахнувшись, с силой ударил по щеке.

— Что... что это... — бормотал растерянно Болотин, отступая назад и то поднимая руку к лицу, то опуская ее. — Вы...

Недоумевающие он обвел глазами комнату и встретился со взглядом Ев- гении Дмитриевны. Взгляд был тяжелый, упорный. Следя за ним, Болотин перевел глаза на фуражку, которую еще держал в руке, зачем-то ее надел и, быстро повернувшись, вышел из комнаты.

— Послушайте, послушайте, — услышал он вслед голос Юрия Дмитриевича, — Болотин! Милостивый государь! Секундантов, вы можете пригласить секундантов.

Не обертываясь, Болотин спустился с лестницы и вышел на улицу.

* * *

Пройдя переулочек два, Болотин как будто успокоился. Обменялся несколькими веселыми фразами с встретившимся знакомым и даже улыбнулся, когда тот спросил:

— Что это у вас щеку? Укусило?

— Да, укусило... Больно укусило.

— Я думаю. Ишь как покраснела.

Домой, однако, не пошел, а отправился в поле. О случившемся он не думал и с необыкновенным вниманием приглядывался к окружающему. До горизонта тянулись темно-бурые бесконечные поля, сливаясь со свинцовым, низко нависшим небом. Местами чернели купы деревьев; виднелся вдалеке белый фасад мельницы. Над оврагом с назойливым, неприятным криком кружилась стая ворон; вероятно, завидели дохлую собаку. Проехал по дороге мужик, далеко разбрасывая грязь, оглянулся на барина, потом вытащил калач и наполовину засунул в рот.

— Ишь, напасти! — сказал вслух Болотин и удивился своему голосу.

«Нет, это не то. Он меня ударил. Нужно об этом думать. Ну за что?» Но вместо ответа перед ним встал загадочный тяжелый взгляд Евгении Дмитриевны. Проплыл, медленно колыхаясь, мертвенно бледный профиль. Вспомнилось открытое окно, шелест деревьев, жужжание.

«А тогда жарко было, — подумал он. — Но почему же она так смотрела на меня и молчала?.. А он, должно быть, сильный». Он потрогал рукой щеку: «Кажется, опухла. Неприятно, дома заметят. Скажу, что зубы болят».

Он долго шатался по полю. Бросил камнем в ворону и долго следил за тем, как она неровно, боком сделала несколько скачков, тяжело поднялась на воздух и, перепрыгивая лужу, попала в середину ее. Он рассмеялся. В голове носились обрывки каких-то мыслей, высказывали картины далекого прошлого. Припомнился вечер, когда он ехал домой и стоял на площадке. «А то был не я», — подумал он и сразу почувствовал что-то ужасное, какую-то неизмеримую тяжесть на сердце. Но через миг это чувство прошло и опять стало легко.

— Однако, кавардак порядочный! — сказал он себе.

Дома ничего не заметили, только удивлялись его фантазии гулять в такую погоду по полю. А он говорил и прислушивался к своему голосу, и этот голос казался ему совершенно чужим, говорившим что-то непонятное.

Ночь он проспал как убитый и проснулся с совершенно свежей головой. Быстро вскочил, оделся и, вспомнив вчерашнее, изумился:

«И чего было с ума сходить? Очевидно, недоразумение какое-нибудь, которое скоро уладится. Ну, ударил он меня — не на дуэль же, в самом деле, его вызывать? или не в драку же было вступать с ним?» Весело напился чаю и опять отправился в поле, в ожидании трех часов, когда, как он рассчитывал, принесут ему письмо от Евгении Дмитриевны. В поле та же картина, только вместо мужика проехала баба, да подошла обветренная за ночь земля. Мало-помалу радостное настроение исчезло. Пришла мысль, что все это не так просто. При воспоминании о «пощечине» являлось гне-

тушее чувство не то обиды, не то злости. Все с большими подробностями вспоминалась сцена: как Занегин поднял руку, как он с недоумением смотрел на нее, не понимая, зачем она поднята, затем мгновенное ощущение ожога — и пристальный, тяжелый взгляд Евгении Дмитриевны.

— Фу, гадость какая! — передернул он плечами. Потом сжал свой большой крепкий кулак и с злой улыбкой посмотрел на него: «Вот бы... Нет, это уж черт знает что. В зверя начинаю обращаться. Это значит, во мне самец проснулся. Как же при женщине, при самке его ударили!..»

Однако гнетущее чувство оставалось. Явилась почему-то уверенность, что письма от Евгении Дмитриевны не будет.

Письма не оказалось. Весь день Болотин проходил как потерянный, а к вечеру почувствовал в голове вчерашний хаос, но только более мучительный.

Следующий день прошел так же, с той разницей, что Болотин уже не мог спать ночи и ничего не ел. Письма не было. «Что это значит?» — думал он. Приходили в голову догадки одна нелепей другой.

На третий день, после бессонной ночи, он встал совершенно разбитый и слабый. Поразмыслил и решил сам писать к Евгении Дмитриевне, но как раз принесли письмо от нее.

— Что, барышня здорова? — спросил Болотин у посланной.

— Здоровы-с, — с изумлением ответила горничная. — Они вчера до двух часов в офицерском собрании танцевали. А ответа-с не приказали спрашивать.

«До чего барчука довела, бесстыжая! — размышляла горничная, идя домой. — Лица нету. А какой был мужчина — прелесть».

Болотин прочел письмо, еще раз прочел...

«...Не доискивайтесь причин моего решения. Вы ни в чем не виноваты, но не виновата и я. Я думала, что люблю вас, но я ошиблась. Мне тяжело было ваше присутствие, минутами я не могла видеть вас. Не сердитесь, забудьте и простите недостойную вас Е.З.

P.S. Может быть, я расскаюсь, что написала это письмо».

К вечеру получилось другое письмо, от Юрия Дмитриевича.

В отменно вежливых, но искренних выражениях он просил извинения у Сергея, говоря, что был введен в заблуждение. «Если тем не менее вам угодно получить удовлетворение, то я всегда к вашим услугам».

Но на это письмо Болотин не обратил никакого внимания.

Начались ужасные дни. Болотин перестал понимать, что творится с ним. Какие-то неопределенные мысли, чувства волновали его. Он бегал по городу, по целым часам смотрел в пламя камина — и эти чувства были с ним. Он спал тревожным, беспокойным сном, видел во сне ее — и сон был так реален, действительность так призрачна, что он терял границу между ними. Поздним вечером возвращался он домой после бесплодных поисков... кого и чего, он не знал и сам. Пока он шел по освещенным улицам, было еще ничего, мысль как-то терялась в уличном шуме и жизни. Но когда он вышел на свою темную и пустую улицу и потом, как в черную яму, опустился к реке, на мост, взглянул на мрачную воду, черную даль — им овладели призраки. Бывают страшные мысли и чувства, которых нельзя передать словами и от которых волосы становились дыбом. Это мысли-трупы, мысли-привидения. Они стали реальны. Они носились вокруг него, кружились, и он не знал, сон это или действительность. Он стоял на мосту и чувствовал, что он не один; вокруг него, в нем эти неизвестные и страшные враги. Он идет, они идут за ним, толкают его. Ему страшно. Он приходит домой; вместе с ним переступают они порог; вот они наполняют его

комнату... Ему страшно. Наступало минутное затишье — и так разительна была тишина после того ада в душе, где каждое чувство как бы приобрело голос, и кричало, и плакало, и смеялось, и безумствовало, как зверь, совравшийся с цепи.

Вот промелькнул бледный детский профиль, запахло вареньем. Дикий, нечеловеческий ужас охватил его.

— Скажи, скажи, чего хочешь ты! — простонал он, хватаясь руками за горячую голову...

Вот упорный, тяжелый взгляд Евгении Дмитриевны. Она... Что она? Он не понимает, что она. Любит он ее? Нет...

Вот удар, этот проклятый ужасный удар. Он жжет его, разбивает всю голову. Как больно, как нестерпимо больно. Душа болит, болит так мучительно, так резко, что невольные слезы навертываются на глаза.

Он не чувствует злобы к Юрию Дмитриевичу, он забыл его, но этот удар — он жжет его, терзает. Какая-то великая, страшная мысль стоит в голове, и тень от этой мысли заполняет голову, и нет в ней светлого места.

Это было дня через три-четыре после письма — а впрочем, он потерял счет дням и часам. Была глубокая ночь. Весь дом спал. Не спал он да мать, тревожно прислушивавшаяся к неровным шагам сына.

Болотин остановился у стола и тупым, без выражения, взглядом уставился в темное окно. Как чьи-то черные руки, тянулись к нему голые ветви и тихо стучали и терлись по стеклу.

— Да... Нужно заснуть, забыться... Забыться, — деловым тоном проговорил он. Он уселся и отворил ящик стола, где у него была своя аптечка.

— Опиум... Опиум — да где же он? — говорил он все так же серьезно и деловито. — А, вот.

В глубине ящика тускло блеснул револьвер. С какой-то затаенной, неосознаваемой мыслью Болотин вынул его и положил на стол. Не меряя, вылил в стакан опиуму, разбавил водой и выпил.

«Теперь засну», — подумал он и с облегчением улегся на кровать. Но сон не приходил. Пришли мысли ясные, даже слишком ясные. Он не мыслил, он видел. Увидел опять себя едущим домой, увидел университет, беспорядки, потом вечеринку какую — то, где он спорил и горячился, — и вскочил с кровати.

— Нет, то не я, то другой... — не то думал, не то говорил он, ходя крупными и твердыми шагами по комнате. В глазах у него появился страшный блеск; руки дрожали. «Да, это странно. Ну а кто я?» Но мысли путались, приходили совсем ненужные. Выскочил откуда-то мужик с калачом, громадным, неизмеримо громадным калачом. Потом опять бледный профиль и взгляд Евгении Дмитриевны. Гроб колыхнется, колыхнется... и взгляд тяжелый, упорный.

Он проходил мимо зеркала и остановился. Зеркало отразило бледное лицо с кривой, жалкой усмешкой.

«Это мой нос, губы... Мои... странно».

Он опять зашагал, но остановился на минуту посреди комнаты, медленно подошел к столу и сел, опустивши голову.

Потом поднял ее и с слабой, нерешительной усмешкой протянул руки к револьверу. С той же нерешительной усмешкой приложил его к виску и поднял курок.

...Зеленые ветви за окном, запах варенья... Остановись!..

Раздался выстрел и гулко прокатился по спящему дому.

— Господи, что это? Господи! — закричала вбежавшая мать и бессильно опустилась на труп, пачкая в крови рукава белой кофты.

За нею в дверях стоял отец, растерянный, с трясущейся нижней губой.

* * *

Смерть Болотина возбудила много толков. Обыватели поумнее толковали об умственных эпидемиях и нашем нервном веке; поглупее — развели руками и молчали. Впрочем, кто, был умнее, трудно сказать.

Евгения Дмитриевна была на похоронах, много плакала, а через полтора месяца уехала в Петербург. Юрий Дмитриевич сильно огорчился, услышав о смерти Болотина. «Какая неприятная вещь! — подумал он. — Все объяснилось, сестра его любит, а он... дуэли, что ль струсил? так ведь никто его и не заставлял. Э, да сам черт не разберет этих юродивых!»

Торобьев не поверил чистоте намерений Болотина, но на похоронах все-таки присутствовал. Придя оттуда домой, долго писал что-то в тетрадке и, окончивши, имел чрезвычайно довольный вид.

ЧУДАК

Хотя это и невероятно, но и в наш век существуют чудачки. По крайней мере, я одного знаю. Это такой комик, что в любом цирке мог бы составить полный сбор. Недавно он получил приглашение к Саломонскому, но чудак оскорбился.

— Я не шут гороховый, а идеалист, — заплакал он.

— Так что ж из этого? — изумился я. — Все шуты идеалисты. Возьми у Шекспира — или теперь Дурова.

Но так и не убедил его. Он был дубоват: совершенно не понимал шутки и всякое лыко ставил в строку. Раз я взял у него денег займы — конечно, шутя, ибо какие же счета между друзьями, но он чуть драться не полез, требуя расплаты. Только тогда успокоился, когда я ему сказал, что мои деньги на почте пропали.

Но что за потеха была, когда мой друг влюбился. Северное сияние, солнечное сияние, электрические фонари — все это пустяки в сравнении с сиянием его лица. Два таких чудачка — и Орлу не надо электричества.

— Она ангел! — заявил мой друг, собираясь, по-видимому, выжать из меня масло своими объятиями.

— Кто тебе сказал?

— У нее на лице написано.

— А ты сотри надпись.

— ?

— Милый друг! — стал поучать я, — есть две надписи, которым не следует доверять...

— Знаю, ты говорил, — перебил друг, — на векселе!

— И на женском лице. Ну а как же... стереть-то?

Я объяснил чудачку, как добиться истины. Наблюдать и испытывать.

Прошло времени ни много, ни мало, является друг.

— Ангел! я говорил тебе!

— Как узнал?

— Она сама сказала. Она сказала, что любит папашу, мамашу, дядей и тетей. Она любит котят и людей и боится тараканов.

Она хочет приносить пользу и просит поучить ее. Она ненавидит кокетство, танцы, корсеты и хочет на курсы. Она не знает слово «любовь». Она...

— Мой друг, — начал поучать я, — есть два рода речей, которым нельзя доверять...

— Знаю. Юбилейные!

— И женские.

Через неделю чудак явился в нестерпимом сиянии и блеске.

— Испытай! — еще с порога закричал он и бросился целовать меня. — Ангел! Любит меня! Сама сказала...

— Опять!

— Клялась! — при этих словах мой друг поднял палец кверху с весьма торжественным видом, и затем, опустив его, прибавил торжественным шепотом, — любить вечно.

— Мой друг, нельзя...

— Знаю. Клятвам пьяниц...

— И женщин. Еще испытай.

Через неделю снова отворились мои двери, и вошел... нет, не вошел, а вступил чудак, медленный, серьезный и величественный. Молча, с достоинством неопианным, сел на стул и, устремивши на меня огненный взор, с расстановкой произнес:

— Она меня — поцеловала.

— Мой друг...

— Нет, врешь. Не нужно верить друзьям — она сама сказала. — И — ты коварный друг. Ты ее не любишь потому, что она отвергла твои ухаживания. Прощай, коварный друг!

И вышел.

Я, признаться, рассердился. Хотел перехватить деньжонок, а тут извольте. И нужно мне было поучать его! Вообще-то, правда вредна, а с друзьями, да еще влюбленными, это прямой путь к неприятностям. Пусть бы его тешил, — чем бы дитя ни тешилось, абы не плакало.

Времени прошло достаточно — друга все нет. Я уже и надежду потерял увидеть его. Только иду раз вечером по Волховской — славный такой вечер был — глядь, навстречу чудак с своим «ангелом». Ангел (между нами, очень миленький, не чудачу чета) позевывает и рассеянно смотрит по сторонам; чудак что — то повествует и видимо блаженствует. Поравнялись. Чудак отвернулся, но она вскинула на меня любопытные глазки и что-то ему шепнула. Мой друг все еще с хмурым видом подошел ко мне.

— Она тебя простила. Ангел?! — сказал чудак тоном вопросительным, но в то же время и угрожающим.

— Ангел! — ответил я с энергией.

Лицо чудака просветлело; он пожал мои руки и шепнул на ухо:

— Как я скучал без тебя!..

После этого он подвел меня к ангелу, познакомил, и мы отправились дальше, оживленно беседуя. Вскоре чудак — для которого, как заметно, мы с ангелом составляли предмет гордости, — был под каким-то предлогом отослан, и мы остались вдвоем.

— А какой милый ваш друг, — сказала она дипломатически.

— О да, — ответил я так же дипломатически.

— Не правда ли? — обрадовалась она. — Он такой... добрый.

— Ужасно добрый!

— И... умный.

— О!

— Только немножко... странный. Вы не замечали?

— Как вам сказать?..

— И немножко... скучный?.. Всему верит.

— Неужели?

— Да, да. И все делает, что... попросишь... И никогда не... сердится.

И всем доволен, что... ни скажешь.

— Это неприятно.

— Вы смеетесь? Нет, правда, — это иногда скучно. Я раз сказала, что он... глуп. И он — согласился! Представьте!

— Как же быть с этим?

— Уж и не знаю.

Но тут разговор зашел о другом... о чем — это для читателя едва ли будет интересно. А правда, какие у нее выразительные глазки; и голосок — прямо... ангельский.

На другой день, ранним утром, друг ворвался ко мне веселый, как зяблик. Ровно два часа я выслушивал хвалу «ей». Достоинств оказалось столько, что чудак, сперва считавший их по пальцам, перешел уже к коробке с папиросами. Больше всего нравилась ему ее откровенность.

— Представь — она сказала, что я глуп! — сиял он.

— Неужели?

— Да. А вчера сказала, что я скучен!

— Ну?

— То-то «ну». А ты не верил, что ангел. Эх ты, чудак! — и он покровительственно похлопал меня по плечу.

Но дня, кажется, через два прихожу домой и вижу чудака, бегающего с мрачным видом по комнате. Волосы всклокочены. Глаза дикие.

— Что с тобой? — воскликнул я.

— Эразм! (так зовут меня) — дай ножик.

— И вилку?

— Нет, вилки не надо. Я должен убить себя. Она сказала, что я надоел ей.

— Только-то? — стал утешать я (у меня доброе сердце, и я не помню зла). — Чудак — ведь это тоже откровенность.

— Но...

— Никакого «но». Ты не знаешь женщин. Это крайне странные существа... Впрочем, позволишь прочесть тебе лекцию?

— О да, пожалуйста... только ты не будешь шутить?

— Помилуй!., так, мм. г., что есть женщина?

— Знаю, знаю — сосуд скудельный!

— Не перебивай! — сказал я величественно. — Чтобы ответить на этот вопрос и не впасть в крайность, коими прославились как защитники, так и хулители женщин, мы, мм. г., прибегнем к естественноисторическому методу. Все существующее произошло путем эволюции — одна, женщина произошла путем фокуса.

— Это как же?

— А так: природа перевернула карты, как это делает нижегородский шулер, вместо двойки подсовывая туза Существо, именуемое теперь женщиной, было двойкой, т.е. чем-то слабеньким и пискливым. Мужчина, такой молодец в сажень ростом, весьма презрительно поглядывал на двойку, собирая за обе щеки кусок сырого мяса и беззаботно насвистывая, когда природа спросила у него:

— Что, брат, как?

— Да ничего, живу помаленьку.

— И не скучно?

— А отчего бы мне скучать?

— Значит, весело?

— А с чего я буду веселиться?

— Значит — блаженствуешь?

— Так точно.

Природа задумалась. Ни одно существо в мире не знает блаженства, а человек как будто исключение в этом правиле. Неладно дело. Случайно

природа бросила взгляд на двойку — и обрадовалась: «попался, голубчик!» И вот...

Раз! два! три! — фокус совершился. Мужчина в ошалении смотрит на двойку, ставшую дамой, — и бросив кусок недоеденного мяса, стремглав летит к Мюр-Мерилизу за парой готового платья и дорогой ищет другого мужчину, чтобы на всякий случай заехать ему в зубы.

А дама созерцает своими невинными глазками эту катавасию и, смутно понимая, в чем ее сила, отправляется туда же — в отдел ватных и хлопчатобумажных материй.

БАРГАМОТ И ГАРАСЬКА

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндинча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляха № 20», а в неофициальной — попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь, по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкарри — проломленные головы», давая Ивану Акипидовичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности Баргамот скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительный; для пушкарей же — наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц — он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городских, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее отсюда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и, безусловно, господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное, — Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивающие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о

непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с неменьшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, — могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа, как человека степенного и непьющего, а с другой — вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов: хотелось даже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться — то когда еще!

— Тьфу! — плюнул Баргамот, сделав сигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались «до разговленья».

Вскоре потянулись в церковь и пушкарки, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством сборок сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкарки сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут как неприкаянный.

«Стои тут из-за вас, пьяниц!» — резюмировал он свой размышления и еще раз плюнул — сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он не торопясь со всеми

похристосуетя. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник! «Потешный мальчик!» — ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодущие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?» — подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой, — его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло ею тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлюю Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со середины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

— Фонарь. Тпру! — кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

— Стой, дурашка, куда ты?! — бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. — Вот, вот!.. — Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузиться в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь, — в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке — и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют, — толпа хохочет, рекомендует поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, — от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой

куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, — было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться с столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

— Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? — Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

— Куда идешь? — мрачно прогудел Баргамот.

— Наша дорога прямая...

— Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

— Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевков.

— А вот в участке поговоришь! Марш! — мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

— А скажи, господин городской, какой нынче у нас день?

— Уж молчал бы! — презрительно ответил Баргамот. — До свету налился.

— А у Михаила-архангела звонили?

— Звонили. Тебе-то что?

— Христос, значит, воскрес?

— Ну, воскрес.

— Так позвольте... — Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на

руки, Гараська посмотрел вниз, — потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике.

Гараська вое! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», — решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

— Что ты, очумел, что ли? — ткнул его ногой Баргамот. Воет. Баргамот в раздумье.

— Да чего тебя расхватывает?

— Яи-ч-ко...

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

— Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а ты... — бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамот представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль.

— Экая оказия, — мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

— Похристосоваться хотел... Тоже душа живая, — бормотал городской, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. — А я, тово... в участок! Ишь ты!

Тяжело крикнув и стукнув своей «сеledкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

— Ну... — смущенно гудел он. — Может, оно не разбилось?

— Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

— А ты чего же?

— Чего? — передразнил Гараська. — К нему по-благородному, а он в... в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его несколько не оскорбляли ругательства Гараськи: всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.

— Да разве вас можно не бить? — спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

— Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

— Пойдем ко мне разговляться.

— Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

— Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел — и куда же? — не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще... разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль — наострить от Баргамота лыжи,

но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городских, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

— Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить, — поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

— Да нет, не то я говорю... — мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык...

Пришли наконец домой, — и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убраным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром ши, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

— Иван Акиндиныч, а что же вы Ванятке-то... сюрпризец? — спрашивает Марья.

— Не надо, потом... — отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, — но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

— Кушайте, кушайте, — потчует Марья. — Герасим... как звать вас по батюшке?

— Андреич.

— Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо па сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Денники, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и диском присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянностью и жалкою миной смотрит па жену.

— Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, — успокаивает та беспокойного гостя.

— По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не называл...

ЛЮБОВЬ, ВЕРА И НАДЕЖДА

Этюд

Он любил.

По паспорту он назывался Максом Z. Но так как в этом же паспорте категорически заявлялось, что он никаких примет не имеет, — я предпочитаю называть его господином Эн-плюс-единичным (N+1). Он кончал со-

бой и в то же время открывал неопределенно длинный ряд юношей, обладающих вьющимися, беспорядочно разметанными кудрями, прямым, смелым и открытым взглядом, стройным и сильным станом, очень большим и сильным сердцем.

Все эти юноши любили и увековечили свою любовь. Одним удалось записать ее на скрижалях истории, как Генриху IV; другие, как Петрарка, сделали из нее литературный консерв; некоторые для этой цели воспользовались газетным отделом, который известен под именем «городских происшествий» и в котором они фигурировали в качестве удушенных, застрелившихся и застреленных; четвертые, самые счастливые и скромные, увековечили свою любовь внесением ее в метрические книги и созданием потомства.

Любовь Эн-плюс-единичного была сильна, — как смерть, по словам одного писателя; как жизнь, — думал он.

Макс был глубоко убежден, что он первый открыл способ любить так горячо, беззаветно, страстно, и относился с презрением не только к 40000 братьям, которые, по установившемуся убеждению, далеко не могут исчерпать всей силы любви, но и ко всем своим предшественникам. Мало того: он был уверен, что и после него никто так любить не будет, и огорчался, что с его смертью секрет истинной любви будет утрачен для человечества. Однако, будучи юношей скромным, часть заслуги он приписывал ей, своей возлюбленной. Не то чтобы она была полным совершенством, но очень близко подходила к нему, насколько вообще идеал может быть близок к действительности. Были женщины красивее ее, были умнее, — но была ли женщина лучше? Существовала ли хоть одна женщина, у которой на лице так ясно и четко было бы написано, что только одна она достойна любви, беззаветной, чистой и преданной? Макс знал, что таких женщин не бывало и не будет. В этом отношении он не имел особенных примет, как не имел их и Адам, как не имеете их и вы, читатель. Начиная с праматери Евы, кончая той женщиной, на которую были обращены ваши глаза, прежде чем увидеть эти строки, — на лице каждой из них в известный момент читается эта самая ясная и четкая надпись. Вся разница только в крепости чернил.

Наступил очень скверный день, понедельник, не то вторник, когда Макс с сильным испугом заметил, что надпись на милом личике бледнеет. Макс протирал глаза, смотрел издали, сбоку, снизу и даже в кулак, — но факт был вне сомнения: бледнеет надпись. Вот исчезает и последняя буква — лицо бело и чисто, как только что выбеленная стена нового дома. При этом он убедился, что надпись исчезла не сама собой, а кто-то ее стер. Кто?

Макс отправился к своему другому Жану Энному. Он знал и испытал, что таких друзей, истинных, бескорыстных и честных, еще не было и не будет. И в этом отношении, как видите, Макс особых примет не имел. Шел он к другу с целью посоветоваться по поводу загадочного исчезновения надписи и застал его как раз в тот момент, когда Жан Энный усиленно эту надпись стирал поцелуями. Далее хроника городских происшествий обогатилась еще одним несчастным случаем, озаглавленным: «покушение на самоубийство».

* * *

Говорят, что смерть всегда приходит вовремя. Очевидно, для Макса это время еще не настало, ибо он остался жив, т.е. он ел, пил, ходил, брал взаймы и не отдавал, и вообще рядом других психофизиологических актов по-

казывал, что он существо живое, обладающее желудком, волею и умом, — но душа его была мертва, а точнее сказать, она была погружена в летаргический сон. В уши его входил звук человеческих речей, глаза его видели слезы и смех, но ни отзвука, ни движения не будили они в его душе. Не знаю, сколько времени так прошло. Может быть, год, а весьма возможно, что и десять лет, ибо продолжительность подобных жизненных антрактов зависит от того, насколько быстро успевает актер переменить свой костюм.

В один прекрасный день, среду или четверг, Макс окончательно проснулся. Тщательная и осмотрительная ликвидация душевного имущества выяснила, что порядочный кусок души Макса, тот, в котором заключается любовь к женщине и друзьям, омертвел, как отбитая параличом рука или нога. Но оставшегося было вполне достаточно для жизни. То была любовь к людям и вера в них. И вот Макс, отрешившись от личного счастья, начинает работать для счастья других.

Это была новая фаза — он верил.

Все зло, терзающее мир, для него сосредоточивалось в «красном цветке», одном красном цветке. Стоит сорвать его, и стихнет тот немолчный, сердце надрывающий плач и стон, который со всех точек земли, как ее естественное дыхание, поднимается к равнодушному небу. Зло мира — в злой воле и безумии людей. Они сами виноваты в том, что несчастны, и станут счастливы, когда захотят этого. Это было так просто и ясно, что Макс чуть ли до столбняка поражался, недоумевал перед непониманием людским. Человечество напоминало ему толпу, скученную в свободном храме и охваченную паникой при крике «пожар!». Вместо того чтобы спокойно пройти в широкие двери и спастись всем, безумная толпа с яростным криком и ревом, с жестокостью бешеного зверя душит сама себя и гибнет — не от огня, которого нет, а от своего безумия. Достаточно иногда бывает, чтобы над этой жалкой толпой пронеслось разумное, твердое слово, — толпа утихает и избегает неминуемой гибели. Пусть из человечеством раздастся сотня спокойных, разумных голосов, которые укажут, где выход и в чем опасность, — рай на земле наступит если не тотчас же, то в весьма непродолжительном времени.

Макс начал говорить свое разумное слово. Как он его говорил, смотри ниже и ниже. Имя Макса читалось в газетах, выкрикивалось на площадях, благословлялось и проклиналось; целые книжки трактовали о том, что сделал, что делает и что намерен делать Макс Эн-плюс-единичный. Он появлялся то там, то здесь. Видели его стоящим над толпой и повелевающим ею; видели в цепях и под ножом гильотины. И в этом отношении Макс особых примет не имеет. Проповедник кротости и мира, грозный носитель огня и железа, он был все тот же Макс — Макс, который верит. Пока, однако, он это проделывал, время все шло да шло, и потихоньку, кусок за кусочком, отщипывало от Макса то одно, то другое. Нервы развинтились; вьющиеся кудри поредели, и голова стала напоминать пророка Елисея; то там, то здесь покалывало и схватывало; при одной оказии нильский крокодил откусил Максую ногу.

Земля продолжала легкомысленно вертеться вокруг солнца, то приближаясь к нему, то кокетливо отбегая и делая вид, что все свое внимание она устремила на друга дома, на луну; дни сменялись днями и темные ночи ночами с такой педантичностью, немецкой правильностью и аккуратностью, что все художественные натуры принуждены были понемногу перебраться на Дальний Север, где сам черт ногу сломает, стараясь отличить день от ночи, — когда с Максом стряслось нечто.

Как-то так случилось, что Макса не поняли. Сколько раз случалось, что он своим разумным словом успокаивал толпу и спасал ее от взаимоуничтожения, а тут не поняли. Думали, что это он именно крикнул «пожар!». Макс со всем красноречием, к какому он только был способен, если принять при этом во внимание два или три выбитые зуба, уверял, что он старался единственно для них; что самому ему решительно ничего не надо, ибо он холост и бездетен, что он готов забыть печальное недоразумение и впредь служить им верой и правдой, — все было напрасно — ему не верили. И в этом отношении Макс особых примет не имел, как указывает на то история его предков. Этот печальный инцидент закончился для Макса новым жизненным антрактом.

* * *

Макс был жив, как-то твердо было установлено врачебной экспертизой, произведшей ряд несложных опытов. Так, когда ему втыкали в ногу иголку, он дрыгал ногой и старался иголку выдернуть. Когда ставили есть, он ел, но ходить не ходил и займы не просил, что ясно свидетельствовало о полном упадке жизненной энергии. Душа его была мертва, насколько может быть мертва душа, пока живо тело. Для Макса погибло все, что он любил и во что он верил. Непроглядный мрак окутал его душу. Не было в ней ни чувства, ни желания, ни мысли. И не было на свете более несчастного человека, чем он, — если только он был человеком.

Оказалось, однако, что он им был. По календарю была пятница, не то суббота, когда Макс очнулся как будто от долгого сна. С приятным чувством собственника, которому возвратили неправильно отнятое имущество, Макс сознался, что он владеет всеми своими пятью чувствами.

Зрение ему доложило: он совершенно один и находится в помещении, которое с одинаковой справедливостью можно назвать и комнатой, и трубой. Каждая из сторон комнаты имеет в ширину около полутора метров и в высоту около десяти. Стены прямые, белые, гладкие, не имеют отверстий, за исключением одного, через которое Максус подается пища. На белом потолке ярко горит электрическая лампочка. Она не тухнет никогда, и Макс не знает, что такое темнота. В комнате нет мебели, и Макс лежит на жестком каменном полу. Лежит он согнувшись, так как узость помещения выпрямиться не позволяет.

Слух доложил: до самой смерти Макс не выйдет из этой комнаты... Доложил это, слух погрузился в бездействие, ибо ниоткуда не доходит ни малейшего звука, за исключением тех, которые производит сам Макс, ворочаясь или крича до хрипоты, до потери голоса.

Заглянул Макс внутрь себя. В противоположность наружному немеркнувшему свету, внутри себя он видит беспросветный мрак, тяжелый, неподвижный. В этом мраке похоронены его любовь и вера.

Время идет или стоит — Макс не знает этого. Все тот же ровный белый свет льется на него, все та же тишина, безмолвие. Лишь по биению своего сердца Макс может судить о том, что Хронос не остановил своей колесницы. Все сильнее болит тело от неестественного положения и мучительнее становится постоянный свет и тишина. Как счастливы те, для кого есть ночь, вокруг кого кричат, шумят, играют на барабанах; кто может сидеть на стуле, свесив ноги, или лежать, выпрямив их, забравшись головой в угол и закрыв ее руками, чтобы создать себе иллюзию темного уголка. Макс напряженно старается вспомнить и представить то, что бывает в жизни: че-

ловеческие лица, голоса, звезды. Он знает, что никогда в жизни его глаза не увидят этого. Он знает это — и живет. Он мог бы умертвить себя, ибо нет такого положения, в котором человек не мог бы сделать этого, а вместо того Макс беспокоится о своем здоровье, старается есть, хотя у него нет аппетита, решает математические задачи, чтобы занять мозг и не сойти с ума. Он борется со смертью так, как будто она не освободительница, а враг; а жизнь — не мука, горшая мук адских, а любовь, вера и счастье. Мрак в прошлом, могила в будущем и ад в настоящем — и он живет. Скажи же, Жан Энный, откуда он берет сил на это?

Он надеется.

АЛЕША-ДУРАЧОК

Очерк

Посвящается Э. В. Готье

Впервые увидел я Алешу при таких обстоятельствах.

Был холодный ноябрьский день. Сильный северный ветер быстро гнал по небу низкие тучи, гудел в голых вершинах обнаженных деревьев, срывая оттуда последние желтые скрюченные листья, своим печальным видом напоминавшие дачников, которые никак не могут расстаться с летом и только под влиянием крайней необходимости покидают насиженное место. Тот же суровый и настойчивый ветер подгонял и меня, настолько увеличив мою нормальную способность к передвижению, что путь от гимназии до дому, проходимый мною обыкновенно минут в тридцать, на этот раз сократился по меньшей мере минут на пять. Полагаю, впрочем, что один ветер едва ли достиг бы таких блестящих результатов, если бы не оказали ему содействие мои родители, наградившие меня тем, что в данную минуту свободно можно было назвать парусом, но что при рождении было наименовано гимназическим теплым пальто, сшитым «на рост». По толкованию изобретателей этой адской машины выходило так, что когда года через четыре мне станет пятнадцать лет, то эта вещь будет как раз мне впору. Нельзя сказать, чтобы это было большим утешением, особенно если принять во внимание необыкновенную тяжесть этой вещи и длину ее пол, которые мне приходилось каждый раз с усилием разбрасывать ногами. Если добавить к этому величайшую, с широчайшими полями, ватную гимназическую фуражку, имевшую очевидную и злобную тенденцию навек сокрыть от меня свет божий и похоронить мою бедную голову в своих теплых и мягких недрах, чему единственно препятствовали мои уши, да обширнейший ранец, вплотную набитый толстейшими книжками — и все в переплетах, — то, без всякого риска солгать, меня можно было уподобить путешественнику в Альпийских горах, придавленному обвалом и кроме того поставленному в грустную необходимость весь этот обвал тащить на себе. При этих условиях требовать от меня жизнерадостного настроения было бы нелепостью.

Дом наш находился на окраине города О. по Пушкарной улице. Энергично борясь с судьбою, я успел приблизиться к нему и уже козырька фуражки заметил чьи-то грязные ноги, попиравшие чистые каменные ступени парадного крыльца. Сдвинув, насколько было то возможно, фуражку на затылок, я критическим взглядом окинул обладателя грязных ног. При пер-

вом поверхностном обзоре я успел заметить, что он одет более чем по-летнему. Коротенький и узкий нанковый пиджак туго обтягивал тело, выше кисти оставляя открытыми большие грязные руки, синевато-багровые от холода. Тот же оттенок носили и другие части тела незнакомца, выглядывавшие из прорванных нанковых брюк, далеко не достигавших нижних конечностей, обутых в опорки. Единственное, что в костюме незнакомца пробудило во мне некоторое чувство зависти, была маленькая-премаленькая засаленная фуражка, еле прикрывавшая стриженую голову.

— Послушай, чего тебе надо? — спросил я с деловой суровостью барчонка, выполняющего ответственные функции хозяина и домовладельца.

Незнакомец молчал и смотрел на меня. Я тоже молчал и смотрел на него. Поразило меня при этом что-то особенное в выражении его глаз и рта. Лицо у него было совсем молоджавое, болезненно-полное и на щеках еле покрытое негустым желтоватым пушком. Носик маленький, красный от холода. Небольшие серые тусклые глаза смотрели на меня в упор, не мигая. В них совсем не было мысли, но откуда-то из глубины поднималась тихая молчаливая мольба, полная несказанной тоски и муки; жалкая, просящая улыбка как бы застыла на его лице.

— Послушай же! Чего тебе надо? — вторично спросил я, но уже со значительно меньшей суровостью. Но незнакомец и на этот раз не удостоил меня ответа. Слегка сторбившийся, беспомощно, как плети, опустивший руки по бокам, он смотрел на меня тем же взглядом, и лишь губы его стали шевелиться, как будто то, что нужно было ему сказать, находилось на самом кончике языка, но никак не могло соскочить оттуда.

— Ну? — подобрал я ему.

— Копеечку... — послышался тихий, точно откуда-то издали долетевший ответ.

— А ты звонил?

— Не-ет.

— Какой же ты глупый! Кто ж тебе даст, если ты не звонил.

Незнакомец молчал.

— А как тебя зовут?

— Алеша... Дурачок.

Эта необычная рекомендация не показалась мне странной, ибо я давно уже решил, что у незнакомца не все дома, и мне было жаль его. Особенно смущало меня проглядывавшее сквозь прорехи голое, синеватое тело.

— Тебе холодно?

— Холодно.

С быстротой нерассуждающего детства я составил чудный план помощи Алеше, имевший целью не только спасти его от холода, но обеспечить его будущность по меньшей мере на несколько десятков лет. Схватив Алешу за рукав, я энергично потащил его окольным путем в сад, более чем когда-либо негодуя на излишнюю предусмотрительность родителей, воплотившуюся в этом проклятом пальто «на рост». В саду я усадил Алешу на скамейку, с возможной поспешностью отправившись домой и, не раздеваясь, потребовал от матери «как можно больше денег». Та изумилась, но ввиду того, что я имел честь состоять первенцем и баловнем дома, а также и потому, что у ней не было мелочи, дала мне рубль, строго приказав принести мне сдачи. Как же, дожидайся!

— На, Алеша. Тут много денег. Смотри, не потеряй.

Для верности я сам зажал в его руку драгоценную бумажку. Но все-таки меня грызло сомнение, хотелось самому проводить до его дома, но, боясь отца, я удовлетворился тем, что долго из калитки наблюдал за уходящим

дурачком. И походка-то у него была странная. Поднимет одну ногу и, качнувшись всем телом вперед, тихо-тихо поставит ее наземь носком внутрь. Потом другую. Меня так и тянуло побежать и толкнуть его сзади. От нетерпения я даже начал топтать.

Говорят, что павлины горды, но это могут говорить лишь те, кто не видал меня в этот достопамятный день. Но радость от сознания сделанного добра была, пожалуй, еще выше гордости и страдала лишь одним недостатком: не была разделена. Впрочем, этот недостаток легко было исправить: у меня был поверенный. В этой почетной должности состоял наш дворник Василий, молодой, веселый и плутоватый парень, бывший, как я впоследствии убедился, далеко не бескорыстным другом, так как всякий прилив дружеской откровенности с моей стороны окупался обыкновенно десятком папирос из отцовского ящика. На этот раз, однако, я был обманут. Мой трогательный рассказ о бедном Алеше и рубле вызвал в Василье неистощимое и обидное для моего самолюбия веселье. Даже тезка Василия — мерин Васька (приютом нашей дружбы служила конюшня) — оглянулся и фыркнул, до того выразительно и громко грохотал Василий! Выждав окончания этой неприличной веселости, я в вежливых выражениях попросил разъяснить мне причину смеха. Боже, какое разочарование! Оказалось, что Алеша живет у известной всей Пушкирной Акулины, которая посылает его собирать копеечки, и если копеечек набирается достаточно, совершается на них пьянство и дебош. И следовательно, мой рубль...

— Поди-ка, сейчас посмотри! Вот, небось, задувают... И вас похвалят!..

Представление о весьма вероятных, но мало лестных похвалах, которыми должна была осыпать меня Акулина, погрузило Василия в целый океан смеха, вынырнув из которого он выразил прямое намерение идти к кухарке, у которой он тоже состоял поверенным, и посвятить ее в мою тайну.

Однако я воспротивился этому и путем красноречия, а главным образом обещания поставлять папиросы в таком количестве, что осуществление этого обещания грозило отцу неминуемым банкротством, убедил Василия предпринять вместе со мной небольшую рекогносцировку во владения Акулины.

Жилище Акулины носило название «кадетского корпуса». Что хотели сказать этим пушкари, давшие это прозвище, для меня положительная тайна. Быть может, покосившаяся набок крыша, весьма отдаленно напоминавшая надетую набекрень фуражку, что, как известно, составляет отличие военного звания, дало повод к этому названию, — но кто разберется в тайниках народного духа? Под этой крышей, несколько схожей со швейцарским шале, благодаря обилию набросанных камней и кирпичей, долженствовавших удерживать на месте дрянную настилку, находились четыре стены. Четыре — это очень важная подробность, так как половину лета изба имела всего три стены. Дело в том, что господин Треплов, супруг Акулины, по профессии более алкоголик, чем штукатур, вознамерился основательно отремонтировать свой замок, с каковой целью поочередно вынимал каждую стенку и вставлял хворостиную. Но так как различные сложные обязанности, связанные с его профессиями, не позволяли ему отдавать много времени этому занятию, то домишко по целым неделям стоял без одной какой-нибудь стены. Особенно интересный вид представлял собой «кадетский корпус», когда была вынута стенка на улицу, и прохожие имели полную возможность наблюдать за течением семейной жизни г. Трепловых, причем, несомненно, наибольшее количество избранной публики привлекал тот драматический момент, когда Акулина била и укладывала спать своего мужа. В то время я был глубоко убежден, что нет

на свете более носатой, более высокой, более сильной, более страшной и громогласной женщины, чем Акулина. Когда по каким-либо обстоятельствам мне нужно было представиться себе ведьму, я совершенно удовлетворялся представлением Акулины, останавливаясь перед одним лишь вопросом: каково же должно быть помело, на котором она летает? Поэтому, подходя к корпусу, я сильно трусил и крепко держал Василия за руку.

Отложив и снова заложив дверь, ибо она относилась к категории тех дверей, которые Митрофанушка называл «прилагательными», и петель не имела, — куда-то опустившись, поднявшись и снова опустившись, мы очутились внутри лачуги. Свет слабо проникал в запыленные и заклеенные бумагой оконца, и мне в первую минуту показалось, что в избе масса народу. Присмотревшись, я убедился однако, что там было всего трое. Спиной к нам сидела Акулина, а на лавке вокруг стола восседали опухшая девица и молодой человек неопределенных занятий и звания. Возле молодого человека лежала гармоника, но, думается мне, единственно для контенансу, так как между верхней и нижней половиной этого инструмента произвел видимый и едва ли поправимый разрыв. На грязном столе стояла бутылка водки, валялся раскрошенный хлеб и виднелись остатки седлки, обычно именуемой пушкарями «кобылой». Алеши не было видно.

— А, Мелит Николаевич! — дружелюбно приветствовала меня Акулина, получавшая от моей матери кое-какое тряпье. — Садитесь, гостями будете. От маменьки будете?

— Нет, я так... от себя... Василий, — шепнул я ментору: — спроси, где Алеша.

— Вам Лешку нужно? — услышала Акулина. — А на что это он вам?

— Барчук дал ему целковый, — сурово вмешался Василий: — и хочет спросить, куда он его потребил.

— Вот он, Леша. Спрашивайте сами, — грубо отрезала Акулина.

Молодой человек неопределенного звания усмехнулся и подморгнул мне на вино.

В темном углу за печкой на каком-то обрубке сидел Алеша. Обрубок был низок, и колена Алеши подходили к его подбородку. Длинные руки бессильно лежали на коленях. Я наклонился к Алеше и снова встретил молящий, полный тоски взгляд и увидел ту же жалкую, просящую улыбку.

— Алеша, где же деньги? Деньги, которые я тебе дал? Ну, бумажку...

Алеша пошевелил губами и бесстрастно произнес:

— Она взяла.

— Акулина?

— Да-а.

— А это что у тебя? — заметил я, что одна щека Алеши багрово-красная и под глазами царапина.

— Побила.

Бросив руку Василия, я стал против Акулины и, задыхаясь от охватившего меня гнева, спросил!

— Это он... правду говорит?

— Ну и взяла.

— Как же вы смели?!

— А так и смела. Что же, я его даром буду кормить? Тоже, небось, жрет, как прорва.

— И вы били его?

Молодой человек, с видимо возраставшим интересом наблюдавший за этой сценой, не выдержал и, размахивая руками, смеясь и захлебываясь в

словах, начал с непонятым восторгом представлять, как била Алешу Акулина.

— У тебя, грит, что это в кулаке зажато? А Лешка стоит, как пень, и кулака не разжимает. Акулина-то как хватит...

Но я перебил его и, обращаясь к Акулине, прокричал высоким, у меня самого в ушах отдавшимся голосом:

— Вы, Акулина, подлая женщина! Вы... мерзкая женщина! Я папе скажу, он к губернатору поедет!.. Он... — Но дальше слов у меня не хватило.

— Тише, Мелит Николаевич, не петушись, не побоялись...

Я топнул ногой, хотел кричать что-то, но Василий схватил меня за руку и быстро потащил к дверям. Последнее, что донеслось до меня из хаты, был возглас молодого человека:

— На чаек бы с вас! — Но потом: — Эх, барин, чай пьет, а пузо холодное!..

— Но ведь она била его, Василий, била! — кричал я, жмуря изо всех сил глаза и обеими руками дергая Василия за поддевку. — Ведь била!

— Ну, нечего, нечего, не плачь. Ему дело привычное...

— Да как привычное! Ведь она сильная, ты не знаешь. Ему больно было...

Василий отвел меня в наш приют дружбы и долго успокаивал, рассказывая разные небылицы про ум мерина Васьки, обещаясь наказать Акулину, и прося не забыть принести папирос. Понемногу я пришел в себя и решил отправиться в дом, но уходя, спросил:

— А что это значит: барин чай пьет, а пузо холодное?

— Да так, — дурак говорит, плюньте.

Но я не удовлетворился этим и долго размышлял, ощупывая живот: «это и правда, чай я пью горячий, а живот у меня холодный?»

Но эти не лишённые глубокомыслия размышления были нарушены жесточайшим нагоняем, которым наградил меня отец, узнавший всю эту историю с рублем.

Дня через два я снова увидел Алешу стоявшим у нашего крыльца в той же позе тоскливой безропотности и глубокой, животной покорности судьбе. Длинные большие руки бессильно висели вдоль хилого, понурившегося тела, та же жалкая, просящая улыбка застыла на его губах. Смущенный, потому что мне строго-настрою приказано было бросить эту «затею» с Алешей, я быстро сбежал на кухню, принес большой кусок хлеба и, торопливо сунув в руку Алеши, ласково попросил его уходить.

— Ступай, Алеша, голубчик, ступай. Папа не велел ничего тебе давать.

Вероятно, слово «ступай» было знакомо Алеше лучше всяких других, потому что он тотчас же сошел с крыльца и снова тихой, странной походкой отправился домой. И опять я долго смотрел ему вслед, но на этот раз мне уже не хотелось торопить его, и смутное сознание царящей в мире несправедливости закрадывалось в душу.

С того дня я влюбился в Алешу. Нельзя дать другого названия тому чувству страстной нежности, какая охватывала меня при представлении его лица, улыбки. В классе на уроках, дома на постели я все думал о нем, и мое детское сердце, еще не уставшее любить и страдать, сжималось от горячей жалости. Приходилось мне еще несколько раз видеть Алешу, стоящим и безмолвно, терпеливо дожидаящим у чьих-нибудь дверей. Сквозанный строгим приказом, я только издали провожал Алешу любовным взглядом. С Василием я о нем уже не говорил, так как вместе прежних шуток Василий резко заметил мне, что таких Алеш много и про всех не наплачешься.

Недели через две-три начались морозы, и река стала. С толпой ребятишек, составлявших мою обычную свиту, я отправился на лед кататься. День был воскресный, погожий, и на берегу толкалось порядочно пьяного, гуляющего люда. Кое-где поскрипывала гармоника, невдалеке начиналась драка, — уже вторая по счету. Но мы, ребята, ничего этого не слышали и не видели, до самозабвения увлеченные своим занятием. Лед, чистый и гладкий, как зеркало, был еще совсем тонок, так что брошенный на него камень прыгал со звонким, постепенно стихающим гулом. Местами лед даже гнулся под ногами, и когда кто-нибудь из нас, задрвал ноги кверху, с размаху стучался затылком, на льду образовывалась звезда, в значительной степени утешавшая автора ее в понесенной неприятности. Иной малорослый любитель сильных ощущений, а может быть, пытливый ум, желавший исследовать явления в их сущности, пробивал лед каблуком и глубококомысленно смотрел, как из образовавшегося отверстия била ключом вода и потихоньку подтекала ему под ноги. Благодаря предусмотрительности родителей, сшивших мне пальто «на рост», я был автором наибольшего количества звезд, рассеянных по льду, и тем более лестно для моего самолюбия, что после каждого акта творчества я надолго впадал в изнеможение, пытаясь выпутаться из пальто. Находясь в одном из этих состояний, я увидел на берегу Алешу и бросился со всех ног к нему, в радостном возбуждении забыв о приказе. Но пока, падая и подымаясь, я добирался до него, произошло нечто неожиданное. Алеша стоял на берегу у самого льда, как раз над тем местом, которое именовалось у нас омутом, когда один из ребят, зачем-то выскочивший на берег и вздумавший подшутить, разогнался и изо всех сил бушкнул Алешу в спину. Наклонясь и вытянув руки вперед, Алеша вылетел на лед, проехал сажени две на раскоряченных ногах и упал навзничь. Были ли в этом месте ключи, или лед был тоньше, чем в других местах, или он просто не мог сдержать тяжести взрослого человека, только Алеша провалился. Дальнейшее свершилось с такой быстротой, что я не успел еще закрыть широко разинутого рта, когда молодой человек, тот, что был у Акулины, поспешно сбросил с себя самого поддевку и пиджак и, со словами: «берегись, душа, ожгу!» — бросился в воду. Через несколько минут окруженный народом Алеша уже стоял на берегу — все тот же, с теми же бессильно опущенными руками и жалкой улыбкой. Только струившаяся с него вода да дрожание всего тела показывали, что он только сейчас принял, холодную ванну и, быть может, избежал смерти, так как провалился он на глубоком месте. Молодого человека его товарищи увели в кабак, причем, уходя, он не преминул попросить у меня на чаек, а Алеша стоял, окруженный соболезнающей и дающей различные советы толпой, — откуда-то уже успели появиться и бабы, — дрожал и синел все больше и больше. Взволнованный, решительный, я протренился сквозь толпу, взял Алешу за руку, заявил голосом, не терпящим возражений:

— Пойдем, Алеша, к нам, там тебе и чистое платье дадут и обсушиться.

Крики в толпе: «Ай да барчук, молодец!» — ничуть не увеличили моей решимости. Твердо, поскольку позволяли то полы пальто, шагал я, ведя Алешу, а за нами следовала толпа, составляя в общем весьма торжественное и внушительное шествие. Некоторые бабы пытались проникнуть к нам и во двор, но, встретив сильную оппозицию со стороны Василия, в порядке отступили.

Хухарка Дарья, молодая, красивая баба-солдатка, встретила нас, целым скандалом, но, тронутая моими усиленными просьбами, к которым присоединил свой авторитетный голос и Василий, смягчилась, только сочла необходимым доложить о казусе моей матери. Та разрешила на неско-

лько часов приютить Алешу и дала даже кое-каких харбаров ему переодеться. Боже, до чего ликовал я! Я решительно терялся, не зная, чем бы выразить свою любовь бедному Алеше, бесстрастно сидевшему на лавке. Я то гладил ему руки, неподвижно лежавшие на коленях, то просил Дарью дать ему еще поесть, хотел даже почитать ему сказку вслух, но, сообразив, что едва ли он что-нибудь поймет, остановился на другой, более практической мысли. Отозвав Василия в сторону, я таинственно спросил:

— Василий, а если дать ему папиросу, он будет курить?

— Ну вот еще! Куда ему с тупым носом да рябину клевать — рябина ягода нежная!..

При последних словах Василий почему-то подмигнул Дарье, а та засмеялась и назвала его «лешим».

Я продолжал вертеться около Алеши и только что хотел предложить ему еще что-то, когда в кухню вошел отец, только что вернувшийся домой. Василий, собиравшийся зачем-то обнять Дарью, отскочил от нее и вытянулся. Дарья бросилась к печке, а я обер. Только Алеша остался неподвижен и бесстрастен.

— Что это еще?! Убрать его, — сурово произнес отец.

— Папочка!..

— Я говорил, чтобы этого не было. Василий, отведи его.

Василий шагнул к неподвижному Алеше, но я остановил его, бросился к отцу, схватил за руку и заговорил, захлебываясь в слезах, целуя эту суровую, но родную руку:

— Папочка, родной, милый... позволь ему остаться... он бедный, он дурачок... Его Акулина бьет. Папочка, дорогой мой, не гони его — а то я умру. Папочка, не гони. Папочка, не гони!

Мои слезы уже начали переходить в истерику. Расчувствовавшаяся Дарья, утирая фартуком глаза, осмелилась присоединиться к моей просьбе.

— Ничего, барин, пускай останется, он нам не помешает...

Отец, не отвечая, хмуро смотрел на Алешу. Как бы под влиянием этого мрачного взгляда Алеша устремил на отца свои полные молчаливой мольбы глаза, и губы его зашевелились:

— Я дурачок... Алеша...

— Папочка!..

— Пускай останется. Но это в последний раз! — сказал отец, тихо-тихо поглажив меня по поднятому к нему лицу, и вышел.

На другой день Алеша исчез, и с тех пор я его не видал и не знаю, где он. Может, замерз под забором, а может быть, и сейчас стоит где-нибудь у парадных дверей и ждет...

ЗАЩИТА

История одного дня

По коридору суда прохаживался высокий, худощавый блондин, одетый во фраке. Звали его Андреем Павловичем Колосовым, и он третий уже год состоял в звании помощника присяжного поверенного. Перед каждым крупным делом Андрей Павлович сильно волновался, но на этот раз его дурное состояние переходило границы обычного. Причин на то было много. Главнейшей из них были больные нервы. Последний год они прямо-таки отказывались служить, и водяные души, принимаемые Колосовым, по-

могали очень мало. Нужно было бросить курить, но он не мог решиться на это, так сильно была привычка. И теперь ему захотелось покурить, хотя во рту у него уже образовался тот неприятный осадок, который так знаком всем курящим запоем. Колосов отправился в докторскую комнату, оказавшуюся свободной, лег на клеенчатый диван и закурил. Ох, как он устал! Целую неделю не вылезает он из фрака. Да какое неделло! То у мировых судей, то в съезде, вчера целый день до девяти часов вечера промаялся в окружном суде по пустейшему гражданскому делу. Товарищи завидуют, что он так много зарабатывает, ставят примером неумоимости, а куда все это идет? Три тысячи рублей в год, которые он с таким трудом выколачивает, плывут между пальцами. Жизнь все дорожает, дети требуют на себя все больше и больше. Долги растут. Послезавтра срок за квартиру, нужно платить пятьдесят рублей, а у него в наличности всего десять. Опять выворачиваться, значит. Жена...

При воспоминании о долгах и жене Колосов поморщился и вздохнул.

— Послушай, куда ты запропастился? Я тебя искал-искал! — влетел в комнату товарищ Колосова по сегодняшней защите, Померанцев, тоже помощник присяжного поверенного, успевший приобрести репутацию талантливового криминалиста.

Красивый брюнет, подвижной, говорливый и жизнерадостный, но несколько шумный и надоедливый, Померанцев был редким баловнем судьбы. Дома, в богатой семье, его боготворили, счастье сопутствовало ему во всех делах, — как по рельсам катился он к славе и деньгам.

— Нам нужно условиться относительно защиты, — быстро говорил Померанцев.

— Отвяжись, Бога ради, потом, — ответил вздрогнувший Колосов.

— Да как же потом?

Колосов устало махнул рукой, и Померанцев, передернув плечами, то-ропливо вышел.

Дело, по которому выступали Колосов и Померанцев, было по фабуле несложно. На одной из окраин Москвы, там, где кабак сменяет закусную, чайную и снова сменяется кабаком и где ютятся подонки столичного населения, произошло убийство. Какой-то заезжий молодец, по видимости приказчик или прасол, кутил ночь в сопровождении двух оборванцев и гулящей девки «Таньки-Белоручки», показывал кошель с деньгами, а на другое утро был найден на огородах задушенным и ограбленным. Через неделю Танька и оборванцы были задержаны и сознались в убийстве. Колосов должен был защищать Таньку-Белоручку. В тюрьме, куда он отправился на свидание с обвиняемой, его встретило нечто неожиданное. Танька, или Тания, как он начал называть ее, была молоденькая, хорошенькая девушка с гладко зачесанными русыми волосами, скромная и пугливая. Одинокое ли заключение смыло с ее лица грязь позорного ремесла, или жестокие душевные страдания одухотворили его, но ни в чем не было видно того презренного и жалкого создания, о каких привык слышать Андрей Павлович. Только голос, несколько охрипший и грубый, говорил о ночах разврата и пьянства.

После первого же свидания Колосов понял, что Танька ни душой, ни телом не повинна в убийстве. Страх погубил ее. Страх существа, находящегося внизу общественной лестницы и придавленного всеми, кто находится выше. Всякий был сильнее Тани и всякий обижал ее, был ли то ее любовник, драчливый и жестокий, или городской, сияющий всеми своими значками и бляхами и одним своим юпитеровским видом приводивший в панический ужас обладательницу желтого билета. Из страстной и

порывистой речи Тани, когда ее глаза горели и худенькое тело вздрагивало от накопившейся ненависти к гонителям, Колосов увидел, что Таня способна и на самозащиту. Так защищается заспанный зверек, запрокинувшийся на спину и яростно скалящий зубы на поднятую руку, но в самой этой напускной ярости более ужаса и смертельной тоски, чем в самом отчаянном вопле. Со слезами и сомнением в том, что кто-нибудь может поверить ее словам, Таня рассказывала, как произошло убийство. Когда все они вышли из последнего кабака и проходили пустырем, Иван Горошкин, ее любовник, и Василий Хоботьев накинудись на незнакомца и стали душить его.

— Испугалась я, барин, до смерти. Закричала на них: «Что вы, душегубы, делаете?» Ванька на меня только цыкнул, а тот уж хрипеть начинает. Бросилась к ним, а Ванька, злодей, как ударит меня ногой по животу. «Молчи, говорит, а то тебе то же будет!» Пустилась я от них бежать по огородам, сама не знаю, как у Марфушки до постели довалилась... Платок, как бежала, потеряла...

На другой день Таня упрекнула Ивана в содеянном, но тот двумя ударами кулака убедил ее в непреложности совершившего факта, а через полтора часа Таня пела песни, плакала и пила водку, купленную на награбленные деньги.

Колосов еще раз два был у Тани, и после каждого посещения предстоящая защита казалась ему все труднее. Ну, что он скажет на суде? Ведь надо рассказать все, что есть горького и несправедливого на свете, рассказать о вечной, неумолкающей борьбе за жизнь, о столах побежденных и победителей, одной грудой валяющихся на кровавом поле... Но разве об этих столах можно рассказать тому, кто сам их не слышал и не слышит?

Вчера ночью (днем он был занят) Андрей Павлович готовился к защите. Сперва работа не клеилась, но после нескольких стаканов крепкого чаю и десятка папирос разбросанные мысли стали складываться в систему. Все более возбуждаясь, взвинчивая себя удачными выражениями, красивыми фразами, Колосов наконец составил горячую, убедительную речь, прежде всех убедившую его самого. На минуту в нем исчез страх, который как бы передался ему от Тани, и он лег спать, уверенный в себе и победе. Но бессонница сделала свое дело. Сегодня у него голова тяжела и пуста. Отдельные фразы из речи, которые он набросал на бумаге, кажутся искусственными и слишком громкими. Вся надежда на то, что нервы приподнимутся, и в нужную минуту он овладеет собой.

Он сегодня уже виделся с Таней и был неприятно поражен той одеревенелостью, которая сквозила в ее голосе.

— Смотрите же, Таня, вы передавайте все так, как и мне говорили. Хорошо?

— Хорошо, — ответила покорно Таня, но в этой покорности звучал тот одному ему понятный страх, которым было проникнуто все ее существо.

Дело началось.

Когда отворилась дверь, ведущая из коридора за решетку, за которой помещаются подсудимые, и они начали входить один за другим, публика, наскучившая ожиданием, всколыхнулась. Звякнули шпоры жандармов, блеснули их обнаженные тесаки, и зрители поняли, что драма начинается. Пронесшийся по залу шорох и шепот показали, что происходит обмен впечатлений. Ординарная наружность Ивана Горошкина и Хоботьева вызвала нелестные замечания, зато Таня понравилась — настоящая героиня драмы.

После обычного допроса подсудимых об их имени и звании Таня, на вопрос председателя об ее занятии, ответила:

— Проститутка!

И это слово, брошенное в середину расфранченных чистых женщин, сытых и довольных мужчин, прозвучало, как похоронный колокол, как грозный упрек умершего всем живым. Но ничья не опустила голова, ничьи не потупились глаза. Еще более жадным любопытством засветились они — подсудимая так хорошо ведет свою роль.

Первым начал объяснения Горошкин, представлявший собою смуглого, довольно красивого мужчину с самодовольными манерами признанного сутенера. Говорил он не торопясь, выбирая выражения и имея такой вид, как будто он хорошо сознает свое превосходство над окружающими и стесняется особенно ярко обнаруживать его. По его словам выходило, что все трое имели одинаковую долю в совершении убийства. Он держал неизвестного за руки, Танька набросила ему петлю на шею, а Хоботьев душил. Хоботьев, во всех отношениях безличный субъект, повторил ту же историю, расходясь с Горошкиным лишь в неважных подробностях относительно дележа денег. Спокойный перед ожидающей его каторгой, он не мог примириться с тем, что Ивану досталась львиная доля награбленного. Наступила очередь Тани.

Колосов со страхом ожидал ее слов, и после первых звуков ломающегося голоса понял, что дело плохо. Куда-то исчезла та искренность и простота, которые так подкупали; его и были, в сущности, единственным оружием Тани. Пугаясь в ненужных подробностях и отступлениях, оскорбляя слух вульгарностью и резкостью выражений, Таня слишком заметно старалась оправдаться и сваливать вину на других, и чем больше старалась, тем худшее производила впечатление. «Лучше совсем бы уж молчала!» — со злобой на Таню подумал Колосов, мучительно улавливая каждую неверную нотку. Он не глядел на присяжных и публику, но всем телом чувствовал, что растут неприязнь и недоверие.

— Если вы не виновны в убийстве, то почему же вы сознались в нем в полиции и у следователя? — спросил председатель.

Таня замялась и потом ответила, что в полиции ее били. В этом ответе чувствовалась прямая и «наглая» ложь. Да и действительно Таня ничего не говорила об этом своему защитнику. Но чем иным, кроме битья, могла она объяснить всем этим важным господам свой страх перед приставом, который на нее только глазом повел, а ей Бог знает что почудилось! Разве этот барин с золотыми пуговицами поймет, что можно бояться даже одних только светлых пуговиц? На этот раз не только барин, но и Колосов не понял Тани. Сжав со злостью зубы, он уткнулся в пюпитр, чтобы не видеть недоверчивых улыбок.

— А следователь вас тоже бил? — с легкой иронией продолжал председатель.

В задних рядах публики пронесся подленький смешок.

Таня молчала.

— А не судились ли вы за кражу портмоне у пьяного? Мировой судья приговорил вас к двум месяцам тюремного заключения?

Таня молчала. К чему она будет говорить? Жаль только, что она рассердила Андрея Павловича, не сумевши как следует рассказать.

Начался бесконечный допрос свидетелей. Перед все более туманившимися глазами Колосова проходили вежливые, многоречивые и благообразные содержатели кабаков, заспанные и как будто чем-нибудь оглушен-

ные прислуживающие. Одни загромождали свою речь тысячами мелких подробностей, и их нельзя было заставить замолчать; из других приходилось вытягивать каждое слово. Появился свидетель — симпатичный, чисто одетый мальчик, худенький и застенчивый. После нескольких одобрительных слов председатель спросил, что делали Белоручка и другие, когда заходили к его бабушке в хату.

— Калтошку чистили, — ответил мальчик и, взглянув исподлобья на председателя, улыбнулся.

Улыбнулся суд, улыбнулись присяжные, улыбнулась и тихо плакавшая Таня, и слезинки блеснули на ее глазах. Колосов заметил эту любовную улыбку матери, похоронившей своего ребенка, и подумал: «Ради одной этой улыбки нужно оправдать ее». Часы шли за часами, и Андрей Павлович чувствовал себя все хуже и хуже. Перед утомленными глазами его протягивались блестящие нити; слух с трудом воспринимал звуки; смысл речей терялся для него, и раз он вызвал уже замечание председателя по поводу вторично предложенного одного и того же вопроса. Апатия, и скука затягивали его. Он пытался расшевелить себя, в перерывах курил до головокружения, выпил рюмку коньяку, но минутное возбуждение сменялось полным упадком энергии. «Боже, что со мной?» — приходила минутами мысль, и где-то ощущался страх, а по спине поднимался холодок. Померанцев, смелый, бойкий, настойчивый, вел следствие прекрасно: выматывал душу из свидетелей, вступал в ожесточенные схватки с председателем и прокурором и вызывал в публике одобрительные отзывы.

Речи начались только в одиннадцатом часу вечера. Прокурор, пожилой сутуловатый человек, с умным, но мало выразительным лицом, с тихой, спокойной и красивой речью, был грозен и неумолим, как сама логика, — эта логика, лживее которой нет ничего на свете, когда ею меряют человеческую душу. Оставаясь на почве фактов, и только фактов, без трескучих фраз и деланных эффектов, прокурор петлю за петлей нанизывал на сеть, опутавшую Таню. Бесстрастно, эпически начертав картину среды, в которой жили преступники, он приступил к описанию самого злодеяния.

Колосову, нервно перебиравшему холодными руками свои заметки, казалось, что с каждым словом обвинителя в зале тухнет лампочка и становится темнее. Он чувствовал зади себя притихшую Таню; ее глаза расширяются при каждом слове, которое, как тяжелый молот, гвоздит ее голову. Впервые со всей ужасающей ясностью и подавляющей силой Колосов понял, какая безмерно тяжелая лежит на нем ответственность. Сердце замирало у него, руки тряслись, а грозный голос твердил: «Ты убийца! ты убийца!..» Колосов боялся оглянуться назад: вдруг он встретит глаза Тани и прочтет в них мольбу о спасении и слепую веру в него? Зачем он в тюрьме успокаивал ее и говорил о возможности оправдания?..

...Все более чернеет грозная туча обвинения, нависшая над головой Тани. С тем же жестоким спокойствием прокурор говорит о позорном прошлом «Таньки-Белоручки», запятнавшей свои белые ручки в неповинной крови. Вспоминает о краже, добавляя, что, быть может, она была уже не первой...

В притихшей зале не хватает воздуха. Колосов задыхается. Он закрывает глаза и, как преступник перед казнью, видит в глубокой дали солнце, зеленые луга, голубое чистое небо. Как тихо и спокойно сейчас у него дома! Дети спят в своих кроватках. Хорошо бы пойти к ним. Стань на колена и припасть головой, ища защиты, к их чистенькому телу. Бежать от этого ужаса! Бежать!.. Бежать? Но ведь у нее тоже был ребенок? Только в одном крике, продолжительном, отчаянном, диком, мог выразить Колосов свое чувство.

О, если бы у него был язык богов! Какая громовая, безумная речь пронеслась бы над этой толпой! Растворились бы жестокие сердца, рыдания огласили бы залу, свечи потухли бы от ужаса, и сами стены содрогнулись бы от жалости и горя! Как тяжело быть человеком, только человеком!..

Прокурор кончил свою речь. После минутного перерыва, наполненного кашлем, сморканием и шумом передвигаемых ног, начал говорить Померанцев. Его плавная, красивая речь льется, как ручеек. Здоровый, мягко вибрирующий голос как бы рассеивает тьму. Вот послышался легкий смех — Померанцев вскользь бросил остроуту по адресу прокурора. Колосов смотрит на полное, красивое лицо товарища, следит за его округленными жестами и вздыхает: «Хорошо тебе; не знаешь ты горя и не понимаешь его!..» Когда наконец Колосов начал говорить, он не узнал своего голоса: глухой, надтреснутый, неприятный ему самому. Присяжные, сперва настрожившиеся, после первых фраз начали двигаться, смотреть на часы, позевывать. Фразы деланные, неестественные идут одна за другой, наводя скуку на утомленных судей. Шаблонное, опротивевшее повторение сотен речей, слышанных ими. Председатель перестает следить за речью и о чем-то перешептывается с членом суда. «Хотя бы кончить поскорее!» — думает Колосов.

Присяжные заседатели отправились в совещательную комнату. Как мучительно тянутся эти полчаса! Колосов старается избегать товарищей и разговоров, но один, молодой, веселый, толстый и не понимающий, что можно говорить и чего нельзя, настигает его:

— Что это вы, батенька, так плохо нынче? А мы нарочно пришли вас послушать.

Колосов любезно улыбается, бормочет что-то, но тот, увидев Померанцева, устремляется к нему, издали кричит:

— Здорово, Сергей Васильевич! Здорово!

Вот и звонок. Болтавшая, гулявшая и курившая публика толпой валит в залу, толкаясь в дверях. Из совещательной комнаты выходят гуськом присяжные заседатели, и зала замирает в ожидании. Рты полураскрыты, глаза с жадным любопытством устремлены на бумагу, которую спокойно берет председатель от старшины присяжных, равнодушно прочитывает и подписывает. Колосов стоит в дверях и смотрит, не отрываясь, на бледный профиль Тани.

Старшина читает, с трудом разбирая нечеткий почерк:

— Виновна ли крестьянка Московской губернии, Бронницкого уезда, Татьяна Никанорова Палашова, двадцати одного года, в том, что в ночь с восьмого на девятое декабря... с целью воспользоваться имуществом... в сообществе с другими лицами... удушила...

— Да, виновна.

Показалось ли это Колосову, или Таня действительно покачнулась? Или покачнулся он сам?

Нужно ждать еще полчаса, пока суд вынесет приговор. Андрей Павлович не в состоянии оставаться среди этой оживленной толпы и уходит в дальние, пустынные и слабо освещенные коридоры. Медленно ходит он взад и вперед, и шаги его гулко раздаются под сводами. Вот со стороны залы слышится топот ног, шум, голоса — все кончилось. Колосов поспешно идет вразрез толпе, слышит громкие, как бы ликующие возгласы: «Десять лет каторги!»... и останавливается у дверей, из которых выходят преступники. Когда Таня проходит мимо него, он берет ее безжизненно опущенную руку, наклоняется и говорит:

— Таня! Прости меня!

Таня поднимает на него тусклые без выражения глаза и молча проходит дальше.

Колосов и Померанцев живут по соседству и поэтому ехали домой на одном извозчике. Дорогой Померанцев очень много говорил о сегодняшнем деле, жалел Таню и радовался снисхождению, которое дано Хоботьеву. Колосов отвечал односложно и неохотно. Дома Колосов, не торопясь, разделся, спросил, спит ли жена, и, проходя мимо, детской, машинально взялся за ручку двери, чтобы, по обыкновению, зайти поцеловать детей, но раздумал и прошел прямо к себе в спальню.

ИЗ ЖИЗНИ ШТАБС-КАПИТАНА КАБЛУКОВА

Через запущенные инеем и покрытые алмазными елками стекла окон проникали утренние лучи зимнего солнца и наполняли холодным, но радостным светом две большие, высокие и голые комнаты, составлявшие вместе с кухней жилище штабс-капитана Николая Ивановича Каблукова и его денщика Кукушкина. Видимо, за ночь мороз окрепчал, потому что на подоконниках у углов рам образовались ледяные наросты, и при дыхании поднимался пар в холодном воздухе, за ночь очистившемся от запаха табака.

— Кукушкин, — хриплым баритоном крикнул Николай Иванович, прихлебывая из стакана горячий, крепкий чай. Стакан был вставлен в серебряный, почерневший в узорах подстаканник, вместе с серебряной ложечкой составлявший весь ассортимент имевшихся у капитана драгоценных вещей. — Кукушкин!

Слегка зацепившись в дверях, вошел денщик, за несообразность, по выражению фельдфебеля, уволенный от строевой службы. Маленькая голова его с большими лопастными ушами уныло торчала на длинном и худом туловище, охотно принимавшем всякое положение, кроме требуемого.

— Экий ты, братец, михрютка, — кротко упрекнул капитан. — Нужно идти сразу, когда зовут.

— Так точно, — угрюмо пробурчал Кукушкин и скосил глаза.

— Экий ты дурак, братец. И чего ты морду-то воротить? Пьян был?

— Нам не на что пить.

Не желая портить настроения, Николай Иванович молча пожал плечами и велел подать водки и закуски и затопить печку.

— Это что? — показал капитан на чайную чашку с пестрым рисунком, очевидно, собственность Кукушкина, которую он подал вместе с графином водки и сардинами. — Рюмка? — капитан повел глазами на землю.

— Так точно.

— Ну, и дурак. Возьми у хозяйки.

Пока денщик, сидя на корточках, возился у печки и, обжигаясь, подтапливал березовой корой сырые, на концах покрытые снегом дрова, Николай Иванович всесторонне обдумал свои планы на завтрашний вечер. Наступающий праздник требовал от него чего-нибудь праздничного, и завтра, в сочельник, капитан решил устроить у себя пирушку, по количеству напитков, очевидно, не предназначенную для женского пола. Да женский пол давно уже не входил в расчеты капитана, так как полковых дам, с которыми ему приходилось резаться в стуколку, он за женщин не считал, а

с другими сталкиваться не приходилось. Капитан составил реестрик вин и закусок и с некоторым чувством удовольствия передал его денщику, который вместо ожидаемого одобрения отвечал, как попугай, «так точно» и «слушаю», но чем больше он «слушал», тем рассеянее и мрачнее становилось выражение его глаз; капитан сказал бы, что в них просвечивает даже ирония, если бы не знал доподлинно, что Кукушкин глуп и к иронии не способен. Покупок было рублей на десять, но у капитана имелась только двадцатипятирублевая бумажка, которую он и передал денщику. Не теряя все еще надежды оживить Кукушкина и вызвать в нем более активное отношение к действительности, Николай Иванович поднес ему чашку водки, мотивируя свое предложение ссылкой на мороз. Кукушкин, перекрестившись, выпил водку, но не крикнул, и не сплюнул, и не поблагодарил, как то следовало по его установившимся привычкам, но лишь обтер губы с таким ожесточением, как будто ему хотелось уничтожить и след своей позорной уступчивости. Через несколько минут с силой хлопнула кухонная дверь.

«Что за муха его укусила? — подумал капитан. — Был малый как малый, а теперь прямо ошалелый какой-то. Третьего дня сгрубил. Хозяйка жалуется. Ну да черт с ним. Буду лучше думать о том, как хорошо и весело пройдет завтра вечер».

Выпив еще две рюмки водки, погуляв по комнате, заглянув в замерзшее окно, с подоконников которого уже начала стекать вода, Николай Иванович взял маленький ящичек и присел на нем у бурчавшей и шипевшей печки. В открытую дверку на него пахнуло жаром. Шипение стихло, и желтые языки пламени, лениво нагибаясь, облизывали обуглившиеся поленья.

Прошло двадцать лет с тех пор, как Николай Иванович таким же образом, на ящике, сидел у печки. Тогда он только еще попал в этот мерзкий городишко и в эту несчастливую дивизию, где офицеры так живучи и движение вперед так медленно. Тогда у него не было лысины и этого красного, обрюзглого лица. Другим языком говорил тогда этот огонь, таким приятным жаром обдающий лицо. Тот язык был менее понятен, чем настоящий; глупый и смешной то был язык. Он говорил об академии, куда поедет учиться Николай Иванович; он тихо и загадочно шептал о какой-то красивой и хорошей девушке, которая его полюбит; он рисовал живые картины веселого шумного бала, на котором стройный офицер с затянутой талией ловко отбивает такт мазурки и ведет остроумную и интересную беседу. Танцы... Какая смешная вещь танцы!

Николай Иванович оглядел свой округлившийся живот и, вообразив себя танцующим и беседующим с барышней, улыбнулся.

— А разве теперь не хорошо? Ей-Богу, хорошо! — возразил кому-то капитан и в доказательство, что ему хорошо, выпил еще рюмку водки, но к печке присаживаться не стал. Ходить по комнате оказалось разумнее. Мысли пришли обычные, спокойные, ленивые — о том, что жид Абрамка поручику Ильину лакированные сапоги испортил; о том, сколько он будет получать денег, когда будет ротным командиром, и что казначей хороший человек, даром что поляк.

Последние годы Николаю Ивановичу усиленно приходилось доказывать, что ему живется хорошо, так, как нужно жить. Но доказательства принимались туго, пока капитан не обзавелся могучим союзником — графином. Когда с утра он выпивал две-три рюмки водки, все становилось ясным, понятным и простым. Не поражала своим убожеством грязная, пустая комната; не замечалось и того, что сам он стал нечистоплотен и ленив:

по неделям не меняет белья, ленится чистить ногти, а когда и замечалось, то тут же опровергалось резонным соображением: «Ведь мне за барышнями не ухаживать!» Легче было и дело делать спустя рукава; не так обидно казалось и то, что он в пятьдесят лет штабс-капитан, тогда как иные товарищи его по выпуску уже полковники, а то и генералы. Переставало грызть бесплодное сожаление о том, что он четверть века убил на бессмысленную шагистику, в мелкой погоне за завтрашним днем растерял по дороге по частям свою душу. Легкий, приятный туман волновался перед Николаем Ивановичем, застилая от глаз все, что не есть четвертая рота Хоронского резервного батальона с ее жидом Абрамкой, преферансом по маленькой, приказами по полку и другими злободневными интересами.

Но было раза два в году, что союзник капитана обращался в его злейшего врага. С мучительной яркостью и болью перед ним вставало сознание ужасной бессмысленности его жизни, — и тогда Николай Иванович пил запоем по две недели, в одном белье просиживая дома с одувшейся багровой физиономией. С пьяными слезами он жаловался товарищам, что его загубили, а когда товарищи покидали одичавшего, полубезумного от алкогольного яда человека, он ставил к притолоке денщика и, с последними попытками сохранить свое достоинство, суровым голосом рассказывал ему, что он, капитан, человек хороший, только не понятый. Когда и денщик уходил от сумасшедшего «его благородия», его благородие, положив голову на стол, плакал один, не зная, о чем он плачет, но тем горше, тем искреннее и больнее. По миновании запоя, капитан, совестившийся вспомнить и говорить о нем, не мог все же отделаться от ряда смутных, тяжелых воспоминаний. Одним из них, наименее тяжелым, было воспоминание о том, что Кукушкин в чем-то помогал и сочувствовал капитану. Был ли он крепче на ногах других денщиков и долее в состоянии был впитывать в себя капитанские излияния (летевшие на него иногда со стаканом и другою вещью, подвернувшейся Николаю Ивановичу под руку) или в чем-нибудь иным проявлял свое заботливое к нему отношение, капитан в точности уяснить себе не мог, но чувствовал к Кукушкину благодарность. Ради нее он до сих пор не прогонял Кукушкина и мирился с его официально признанной глупостью и совершенно отрицательным значением в капитанском хозяйстве: чего Кукушкин не мог разбить, то он портил другим, более или менее остроумным способом. Капитанские приказания он толковал так превратно, что даже другие денщики смеялись.

Выпив еще рюмочку, Николай Иванович отправился пройтись по знакомым, передав ключ и заботы о квартире хозяйке, жившей через сени. Вернулся капитан поздно вечером, но Кукушкина еще не было. Прошла ночь, а за нею следующий день, — Кукушкина все не было.

Заложив капитанский реестрик за обшлаг рукава, Кукушкин вышел и, охваченный крепким морозным воздухом, невольно ускорил свой гусиный шаг, за который удалили его из роты. На морозе особенно чувствовалась теплота выпитой водки, но это не улучшило его настроения. Послав значительное количество чертей толкнувшей его бабе, в свою очередь с некоторым уважением сообщившей ему, что она такого длинного дьявола еще не видала, Кукушкин демонстративно прошел перед самым носом разогнавшейся извозчицъей клячи, на укоризненное замечание возницы бросив ему вслед:

— Эка носят тут вас черти, гужеедов!

Все дальнейшее, встречавшееся Кукушкину на пути, вызывало в нем протест и едкие замечания. Чем благообразнее, сытнее и по-празднично-

му радостно-озабоченнее была встречавшаяся физиономия, тем с большею ненавистью смотрел он на нее. «Разлопался, жирный пес», — приветствовал он мысленно купца, сидевшего в широких санях и принимавшего от мальчика кульки и кулечки. «Мало еще: ишь чрево-то разъел». Соображение о том, что капитан послал его на другой край города, как будто тут не было хороших магазинов, повергло Кукушкина в состояние полного человеконенавистничества. «С жиру-то бесится, — у Мотыкина селедок купи, слышишь?» — передразнил он капитана и с отвращением плюнул.

— А вот ежели я в кабак зайду? — спросил Кукушкин кого-то, не дававшего ему покоя, и, презрительно ткнув ногой захватанную дверь трактирного заведения, скрылся за нею.

— Вот и зашел, и выпил! — торжествуяше подтвердил он, выходя из трактира и выпустив струю вонючего воздуха. Как бы вызывая на бой весь мир, Кукушкин гордо огляделся и, увидев офицера, моментально вытянулся и отдал ему честь.

С крутой горы Кукушкину надо было спуститься на мост. По ту сторону реки, за рядом дымовых труб города, выпускавших густые, белые и прямые столбы дыма, виднелось далекое белое поле, сверкавшее на солнце. Несмотря на даль, видна была дорога и на ней длинный, неподвижный обоз. Направо синеватой дымкой поднимался лес. При виде чистого снежного поля бурный и горький протест с новой силой прилил к беспokoйной голове Кукушкина. «А ты тут сиди!» — со злобой, не то с отчаянием подумал он.

Недели три тому назад Кукушкин встретился на базаре с одним земляком, который, рассказав все новости деревни Собакиной, погрузил его в заколдованный мир деревенских интересов — заколдованный, потому что и родился, и жил Кукушкин, и взят был из деревни — все по шучьему велению. Интересы эти были денщиком слегка призабыты, но даже легкое напоминание о них заставило ходуном ходить мужицкую кровь, звавшую Кукушкина к тяжелому мускульному труду — к земле и сохе. Рассказал ему земляк и о том, что у него, Кукушкина, родилась дочка, но что молодаяк больна и ребенкa кормят соской. Далее оказалось, что отец Кукушкина без работника, с одним братом Иваном не может сладить с хозяйством и совсем ослабел; хлеба недостаток, и к Рождеству придется занимать у Ильи Иваныча, ежели Илья Иваныч даст. «И слезно просят любезного сына Петрушу прислать денег, потому смерть приходит». Кукушкин послал с земляком целковый, но впал в отчаяние. Перед возбужденным воображением его носилась яркая картина горькой домашней нужды, и чем ближе к празднику, тем ярче и нуднее становилась она. Непривычный к рассуждениям мозг денщика тяжело шевелился, сосредоточивая все свои силы на уразумении факта, заключавшегося в простом сопоставлении: «Дома без рук и без хлеба сидят, а я у Мотыкина селедок голландских покупаю».

И теперь Кукушкин созерцал во всей наготе этот факт и, не умея рассуждать, отплевывался и всем своим существом бесплодно протестовал — к собственному удивлению и даже к некоторому огорчению, потому что это состояние казалось ему неприятным и напущенным на него извне, со стороны. В первое время он помышлял о бегстве, но бегство было так глупо, что Кукушкин целых два дня после своих помыслов с особенной иронией относился к капитану и до срока потребовал у своего коллеги, денщика Тюткина, уплаты занятого двугривенного, а когда тот, по соображениям формального свойства, не отдал, обругал его деревенщиной и подлецом.

Кукушкин подходил к магазину, когда вместе с воспоминанием о деньгах что-то изнутри с силой толкнуло его, и сам собою, как дергач из травы, высочил вопрос:

— А ежели я украду?

«С нами крестная сила! — испугался Кукушкин и перекрестился. — Во всем роду воров не было, а я украду. Да рассказать его мало за это. И что человек подумает», — неискренне улыбнулся Кукушкин и ускорил шаги. Но четвертная бумажка шевелилась в кармане, а изнутри что-то толкало — и вытолкнуло ответ:

— Скажу, что потерял.

«С нами крестная сила!» — еще раз воскликнул Кукушкин и с испугом бросился в первые попавшиеся двери. То были двери трактирного заведения.

Разгневанный и обеспокоенный, Николай Иванович оповестил собиравшихся к нему офицеров, что денщик его с деньгами пропал, и, вернувшись домой, нашел пропавшего денщика в кухне. Кукушкин сидел на лавке и, покачиваясь и клюя носом, усердно ваксил капитанский сапог.

— Ты где это, мерзавец, пропал? Пьян?

— Ни-к-как нет, вашбродь.

— Как стелька... Да как же это ты смел напиться? а?

— На свои пил, не на ваши.

— Что? Грубиянить? А покупка где, а деньги где?

— Потерял. Вот как перед Истинным...

Капитан всплеснул руками и безмолвно устремил на денщика свои заплавленные глазки. Если капитан в этот момент напоминал собою Наполеона, то Кукушкин был океаном, бестрепетно сносившим взгляд владыки мира. Осоловелые глаза денщика, с кротким спокойствием безвинно обиженного человека, были устремлены на Николая Ивановича.

— Украл? Говори!

— Что ж, судите. Может, и украл. Человека всегда обидеть можно. — Кукушкин заплакал.

Капитан, чувствуя, что гнев душит его, сквозь зубы прошипел:

— Спать ложись, скотина. З-завтра в полк.

— Воля ваша, но только я занапрасно гибну.

— М-молчать! Молчать, я говорю!

Топнув ногою, капитан вышел из кухни, а Кукушкин попытался снова приняться за сапог, но, не приняв в расчет силы инерции, последовал за движением щетки и повалился на лавку.

Гнев капитана достиг высшего напряжения и, вылившись в бессвязных восклицаниях, вскоре утонул в нескольких рюмках водки и сменился чувством жестокой обиды. «Праздника — и того не дадут как следует встретить», — сокрушался капитан, пробегая взглядом по светлой картине несостоявшегося веселья, и она как будто потускнела. «Но я докажу, что было бы хорошо!» — воскликнул капитан и начал доказывать. Но странное дело: чем усилнее капитан доказывал, чем чаще вливал он в себя аргумент из графина, тем сомнительнее становилась истина.

«Запой!» — с ужасом подумал Николай Иванович, но сейчас же ужас этот сменился радостью, — радостью человека, который бросается в пропасть, чтобы избавиться от головокружения. Как бы порвав сковывавшие их цепи, перед капитаном понеслись образы, мрачные, тяжелые и томительно-грустные. Образ милой девушки, долженствовавшей составить счастье капитана, всплыл перед ним чистый, пленительный. «Голубушка!» —

с нежностью сложил толстые губы Николай Иванович. А за ним поплыли, поплыли другие. Капитан сидел на берегу этой реки, уносившей в бездну его надежды и мечты о человеческом счастье, и все грустнее и жалче становилось ему себя. Водка убывала в графине, претворяясь в чувства, которые ей редко суждено будить в душе человеческой: чувства жалости, любви и раскаяния. Никому он, капитан, не нужен; ничья не просветляет душа при виде его расплывшейся, пьяной и грязной физиономии. Не обовьются вокруг его толстой, апоплексической шеи мягкие детские ручки, не прижмется нежная щека к его колючему подбородку. У других хоть собака есть, которую они любят и которая любит их. По странному сцеплению мыслей капитану вспомнился Кукушкин. За что Кукушкин будет любить его? Кукушкин... а что такое, собственно, этот Кукушкин?

Грузно поднявшись со стула, капитан взял лампу и отправился в кухню. Денщик спал, запрокинув голову. В левой руке он еще держал сапог, правая, тяжелая, свесилась с лавки. Лицо было бледно и болезненно. Капитан первый раз видел, как спит Кукушкин, и он показался ему другим человеком. Впервые он заметил на этом молодом, безусом лице морщинки, и это лицо с морщинками, с одной несколько приподнятой бровью, казалось капитану незнакомым, но более близким, чем то, которое он видел ежедневно, потому что было лицом человека. Впечатление было настолько ново и странно, что Николай Иванович на цыпочках вышел из кухни и с недоумевающим видом огляделся вокруг: ему показалось, что и комната не та.

Прошло полчаса. По комнатам пронесся зычный зов:

— Кукушкин!

Но в сиплом голосе звучали новые, незнакомые ноты. Кукушкин зашевелился и после нового крика, осторожно стукая каблуками, вошел в комнату. Потупив голову, он стал у порога и замер. И на этого жалкого человека капитан мог сердиться!

— Кукушкин!

Пальцы денщика слегка зашевелились и снова оцепенели.

— Украл деньги?

— Украл... не... не...

Голос Кукушкина дрогнул, и пальцы зашевелились быстрее. Капитан молчал.

— Значит, теперь судить тебя будем?

— Ваше благородие... Не дайте погибнуть...

Капитан быстро вскочил и, подойдя к Кукушкину, взял его за плечи.

— Дурак ты, дурак. Да разве же я и вправду? Эх ты! — Капитан дернул Кукушкина и, повернувшись, подошел к окошку, точно в эту темную рождественскую ночь можно было хоть что-нибудь увидеть на улице. Но капитан увидел и, поднеся руку к лицу, смахнул что-то, что мешало видеть яснее.

— Ваше благородие...

В голосе денщика слышалось то самое, что так удачно смахнул капитан. Жирная спина капитана была неподвижна.

— Ну что? — глухо донеслось от окна.

— Ваше благородие... Накажите меня.

— Будет, будет глупости говорить.

Николай Иванович обернулся, и Кукушкин, с размаха бросившись на колени, хотел обнять его ноги. С выражением растерянности, страдания и умиления на оплывшем красном лице капитан приподнял его, неловко поцеловал в стоявшие дыбом волосы и, отрывая руку от его губ, шутиливо и сконфуженно отпихнул от себя.

— Пошел, пошел!.. Что я, поп, что ли? Налей-ка водки в графинчик! Живо! Одна нога там, а другая здесь.

О ужас! Толстогузый графин, десять лет служивший капитану верой и правдой, подхваченный ловкой рукой денщика, взлетел в воздух, показал свое пустое дно, некоторое время повертелся около руки и, окончательно решившись, упал и разлетелся на куски.

— Ничего, брат. Тащи четверть!

...Длинна и темна рождественская ночь. Давно уже спит крешеный мир. Только в окнах капитанского домика еще светится огонек, бросая желтоватый отблеск на снег...

— Так ты говоришь, деньги домой отослал?

— Так точно, вашебродь. Я вам, вашебродь, зараб...

— Но, но! Что за глупости?

Капитан пыхнул папироской и, глубже усевшись в разодранное кресло, блаженно закрыл глаза. Кукушкин сидел на кончике стула и, полуоткрыв рот, ловил каждое движение капитана.

— Так, ты думаешь, они рады?

— Помилуйте, вашебродь, да это я, уж это...

— Да, да.

...Длинна и темна зимняя ночь, но и она уступает перед силою всепобеждающего света... Белеет восток...

В капитанском домике укладываются спать. Кукушкин стягивает с капитана сапоги и, увлекаемый усердием, тащит с кровати и капитана. Капитан упирается и побеждает усердие денщика. Нежно прижимая к себе сапоги, конфузливо смотрящие на свет протырявленной подошвой, Кукушкин на цыпочках выходит.

— Постой!.. Так ты говоришь, дочь?

— Так точно, вашбродь. Авдотья.

— Ну, иди, иди.

Удивительно, что горькие мысли, предзнаменовавшие начало запоя, на этот раз солгали; ни на следующий, ни на другие дни запой не являлся.

ЧТО ВИДЕЛА ГАЛКА

Из рождественских мотивов

Над бесконечной снежною равниною, тяжело взмывая усталыми крыльями, летела галка.

Над нею уходило вверх зеленовато-бледное небо, с одной стороны сливавшееся в дымчатой мгле с землею. С другой стороны, той, где только что зашло солнце, замирали последние отблески заката, галке был еще виден багряно-красный, матовый шар опускавшегося солнца, но внизу уже густел мрак зимней, долгой ночи. Куда только хватал глаз, — серело поле, окованное крепким, жгучим морозом. Неподвижная тишина резкого воздуха слабо нарушалась, гоня холодные волны взмахами усталых крыльев, несших галку к одному, только ей видимому лесу, где она решила сегодня переночевать. Зажглись уже звезды, и ночной мрак окутал холодным саваном замерзшую землю, когда галка достигла уже густого леса, смутно черневшего на белой поляне. Слышно было вверху, как от мороза потрескивали деревья, распластавшие свои ветви, отягченные сыпучим, мелким снегом. Захрустели сучки под осторожною ногою какого-то лесного зверя,

выходившего на добычу. Из темной дали донесли до галки унылые, жуткие звуки волчьего воя, протяжного, дикого. Крутым поворотом галка изменила направление полета, напрягая последние силы, понеслась туда, где, она чувствовала, находится проезжая дорога.

Она любила человеческое общество, и лесная глушь была ей неприятна.

Вот и дорога. Ее можно узнать по темным, душистым кучкам лошадиного помета, которым галка не преминула бы воспользоваться, если бы ей не хотелось так сильно спать. Невдалеке чернелись перила моста над глубоким, но теперь невидимым оврагом. Галке овраг этот был знаком по тому горькому разочарованию, которое он ей доставил. Не более как год тому назад, в эту же самую пору, ей удалось выклевать глаза, поразительно вкусные глаза, у какого-то молодого черноусого молодца. Несмотря на холод, он, догола раздетый, спокойно лежал на крепком, подмерзшем снегу. Из разбитой головы еще сочилась густая, красная кровь. Только слегка шевельнувшийся мизинец показал галке, что она несвоевременно принялась за работу и клюет зрячие глаза, — но подобные пустяки не могли смутить птицу, привыкшую к человеческому обществу. На другой день она, пригласив несколько знакомых галок, вернулась, чтобы поосновательнее перекусить, и каково же было негодование ее и ее подруг, когда, вместо подмерзшего трупа, они нашли только темное пятно крови да массу волчьих следов. Эти господа не постеснялись разорвать на части галкину собственность, а какой-то запоздавший неудачник пытался, по-видимому, есть даже снег, пропитанный кровью. Только в бурной и крикливой манифестации могла галка выразить свою обиду и дать некоторое духовное удовлетворение пустому желудку.

Выбрав дерево поудобнее, галка комфортабельно уселась на тонкой ветке, согнувшейся под ее тяжестью и осыпавшей мелкий, сухой снег. Каркнув, чтобы прочистить застуженное горло, и сжавшись в комок, так, что галкин приятель, мороз, только руками развел, не видя возможности хоть где-нибудь найти незащищенное место, она сладко закрыла сперва один, а потом другой черный глаз и тотчас же заснула.

Много ли, мало ли прошло времени, галка, по отсутствию часов, установить не могла, но факт тот, что она проснулась, совсем еще не выпавшись, и потому недовольная. Разбудило ее ощущение человеческой близости. Около моста серели две закутанные фигуры. Любопытная, как все женщины, галка перелетела на ближайшее дерево и услышала разговор.

— Ну кого в эту ночь понесет нелегкая? — сказал сквозь зубы один, тот, что повыше, выпуская тучу пара сквозь заиндевевшие усы и бороду. — Ну и морозище!

— Погодим полчаса, — ответил другой, похлопывая руками.

Сгорбившись, обе закутанные фигуры скрылись под мостом. Галке так же легко заснуть, как и проснуться. Разочарованная, она заснула, когда какой-то звук снова разбудил ее. За поворотом дороги слышался скрип полозьев по твердому снегу накатанной дороги. Показались небольшие сани. Пузатая малорослая лошаденка бойко перебирала озябшими ногами. На козлах, понурившись, сидел человек; в санях виднелось что-то темное, тоже вроде человека...

— Стой!

На дорогу быстро выскочили те две фигуры, что сидели, спрятавшись, под мостом. Заинтересованная галка, тихонько каркнув про себя от удовольствия, обратился в слух. Лошаденка остановилась. Кучер что-то сказал человеку, сидевшему в санях, и тот привстал. Воротник шубы скрывал его

лицо и голову. Один из первых знакомых галки взял лошадь под уздцы, а другой, тот, что был повыше ростом, крикнул: «Стой!» И подошел к саням. В опущенной руке он держал что-то тяжелое.

— Здоровье вашей милости! — грубо сказал он. — Ну-те-ка, вылезайте из саночек — приехали!

— Душегуб, разбойник, — глухо донеслось из-за воротника шубы — Что хочешь ты делать?

— А там увидишь.

— Слышь, милый человек, не тронь, — сказал сидевший на облучке. — Пра, не стоит.

— Молчи, пока жив! — прикрикнул высокий, сурово метнув черными глазами. — Вон из саней!

— Слышь, милый человек...

Высокий взмахнул чем-то бывшим в руке и блеснувшим при слабом мерцании звезд. Тот кубарем слетел с облучка и, видя, что поднятый топор не опускается, прошептал про себя: «Ишь какой сердитый, тетка твоя малина!» Сидевший в санях тоже вылез и, нагнувшись, развертывал что-то стоявшее на сидении. Взяв затем развернутый предмет в руку и держа его перед собою, он медленно направился к высокому, с нетерпением ожидавшему окончания сборов.

Никогда галке ни прежде, ни после не приходилось так удивляться! Как будто перед каким-то призраком, высокий начал отступать перед шедшим на него длинноволосым человеком. Допяtilся он до товарища, который, увидев то, что держал перед собою длинноволосый человек и что блестяло от невидимо откуда исходившего света, отпустил лошадь и также начал отступать. Так двигались они: длинноволосый и перед ним два разбойника. Вот один из них нерешительно поднял руку, снял шапку; другой быстрым движением скинул свою. Длинноволосый остановился, остановились и они.

Сидевший раньше на облучке поднял топор и сказал:

— Говорил тебе, не тронь. Видишь, попа везу. Эх ты, ворона!

Галка оскорбленно каркнула, но ни ее, ни говорившего не слышали те, что стояли друг перед другом.

— Ныне Христос родился, а что вы делаете, душегубы, разбойники! — произнес тихий, старческий голос.

Молчание.

— Я, недостойный служитель Бога, святые дары везу к умирающему. И вы будете умирать, к кому вы на суд пойдете?

Молчание, только хрустнула ветка под шевельнувшейся галкой.

— Любить друг друга заповедал Христос, а что вы делаете? Христианскую кровь проливаете, души свои губите. Убиенные войдут в Царствие Небесное, а вы?

Колена высокого подогнулись, и он упал ниц. Быстро последовал за ним и товарищ. Так лежали они в снегу, не чувствуя, как коченеют их пальцы, а над ними звучал тихий, старческий голос:

— Не мне поклонитесь, а Ему милосердному, который меня послал к вам навстречу. Он, человеколюбец, простил душегубца и татя.

— Батя, Прости, — прошептал высокий.

— Прости, батя, не будем, ей-Богу, больше не будем, — присоединился второй, поднимая голову.

Священник молча повернулся и пошел к саням.

Галка не хотела признаваться самой себе, что она лично заинтересована в исходе дела. Неодобрительно каркая, она думала, что стоит лишь на

страже интересов сословия. Действительно, хорошо будет житья галкам, если люди будут деликатничать друг с другом! Иронически встопорщив перья, галка сделала вид, что не смотрит на дорогу, но тотчас же обошла закон и скосила глаза на нарушителей междуживотного права.

— Говорил, милый человек, не тронь. Эх! Скидывай-ка пояс!

Высокий послушно развязал пояс и подал работнику, который медленно и толково прикрутил ему руки к лопаткам.

— Ну-ка ты! Чего слюни-то распустил? Давай пояс, — обратился он к другому.

— Ну, ну! — слабо запротестовал тот, косясь на священника, но развязал пояс и подал.

— Отпусти их, Степан, — сказал священник.

— Как это можно, отец Иван. Меня попадя заругает.

— Отпусти. Не людям дадут ответ, а Богу.

Степан неохотно развязал высокого, дал слегка по шее его товарищу и сел на облучок.

— А с топором-то, милый человек, простишь, — проговорил он, трогая лошадь.

Вскоре и сани и седоки скрылись в ночной мгле, откуда донеслось:

— Говорил, не тронь. Эх...

Измученная до последней степени и возмущенная галка, перегнув голову набок, с любопытством смотрела на оставшихся, в неясной надежде, что дело еще может поправиться. Высокий стоял молча и потупив глаза. Товарищ тронул его руку.

— Пойдем!

Высокий молча двинулся вперед, а за ним поспешно зашагал товарищ. Вскоре и эти скрылись в темноте, и галка, столь любящая человеческое общество, осталась одна. Впрочем, на этот раз человеческое общество ей совсем не понравилось.

СЛУЧАИ

— Ванечка...

— Ну, чего вам?

— Ничего, ничего, я так.

Положительно Иван Семенович решил не замечать, какой жадной душевного разговора томится его мать. Самые прозрачные намеки, самые выразительные вздохи не могли пробить оболочки непроницаемой суровости и холодного равнодушия, с каким Иван Семенович весь ушел в процесс чаепития и пережевывания пятикопеечной булки. Ввалившиеся, темные глаза были устремлены на дно стакана и хоть бы раз обратились на несчастную мать. Обильно смоченные водой, черные редкие волосы выглядывали хвостиками из-за прозрачных, бледных ушей и двигались вместе с равномерным движением скул так возмутительно равнодушно, как будто обладатель их совершенно не понимал всей важности того, что он делает: ест булку в пять копеек, тогда как у матери его, Анны Ивановны, всего-навсего остался гривенник. Молчит как убитый — точно не знает, что его матери нужно только одно сочувствие: чтобы хоть немного вошел он в ее положение и понял. Не будучи в состоянии долее выдерживать эту пытку, Анна Ивановна вскочила с табуретки и отправилась в кухню, не заметив,

что вслед ей равнодушный сын устремил далеко не равнодушный взгляд, светившийся выражением беспокойства и тонкой проницательности.

Еще бы Ивану Семеновичу не знать, чего хочется его матери! Каждый месяц, начиная с 16 числа и кончая двадцатым, днем получки Иваном Семеновичем жалования, происходит одна и та же история. И ведь если бы что-нибудь выходило из этих жалоб, а то только Ивана Семеновича рассердит и сама расстроится.

Увеличив свою мрачность до последней степени, доступной человеку, и придав лицу посильное сходство с Каином, Иван Семенович благополучно оделся и выскользнул за дверь, напутствуемый последним выразительным вздохом Анны Ивановны, убедившейся, что все дети в заговоре против нее. Никто и знать не хочет, что денег у нее ни гроша, а есть все просить будет. Катя и Петька, уходившие из дому на час раньше Ивана Семеновича, — первая в магазин на работу, а второй в приходское училище, — несмотря на прямые речи Анны Ивановны, не сочли нужным ни слова возразить ей; и даже отсутствие хлеба к чаю не могло на них подействовать в смысле пробуждения сочувствия. Ивану Семеновичу еще простиительно: он всю семью содержит, он больной; вчера еще до поздней ночи сидел, переписывал бумаги и кашлял; ну, а эти паршаки — какое имеют право не уважать своей матери?

Анна Ивановна принялась за уборку квартирки, состоявшей из трех маленьких комнат и такой же миниатюрной кухни. Погромоухав ухватами, которые как бы сознавали предстоящие им трехдневные каникулы и с беззаботным видом валились в разные стороны, пошуршав по грязному полу веником и убрав постели, Анна Ивановна несколько рассеялась и с виноватым видом переложила на стол Вани бумаги, до которых ей строго было запрещено касаться. И хотя голос ее звучал суровостью, когда она прокричала своему «старик», как именовался ее муж, что валяться долее могут одни дармоеды и лежебоки, но эта суровость не столько обуславливалась действительной потребностью, сколько сознанием исключительного положения людей, переживающих 16 число.

Кряхтя и охая, слез старик с печки, выпил стакан холодного чаю и, усевшись у окна, принялся барабанить пальцами, выражая тем явный и несомненный протест.

— Чего разбарабанился! И без тебя тошно, — прикрикнула Анна Ивановна, с негодованием взглянув на мужа, которому внушительная фигура, большая серебристая борода и такие же волосы придавали вид патриарха не у дел.

— Табачку бы... — начал было патриарх, но, встретив презрительный взгляд супруги, осанисто крякнул и принялся вертеть один большой палец вокруг другого. Семену Матвеевичу минул уже седьмой десяток лет, и с тех пор как года три-четыре тому назад он за старостью принужден был отказаться от всякой целесообразной деятельности, единственными его занятиями было верчение пальцами между 16 и 20 числами, нюханье табаку и упражнения в красноречии в остальное время. Последнее, т.е. упражнения в красноречии, не преследовало какой-либо определенной цели и носило характер платонический. Обыкновенно проскрипев раза два с паузами: «мать... а мать», как тяжелый воз, который не может сразу сдвинуться с места, патриарх приступал к основательному изложению своих мыслей, отличавшихся, помимо глубины, чрезвычайной и безнадёжной запутанностью. Можно было догадаться, что симпатии его находятся в прошлом, а в настоящем он что-то упорно отрицает, но что — не знали даже самые близкие друзья его.

Лишенный обычной понюшки, большой сине-багровый нос старика начал представлять своему собственнику такие неопровержимые аргументы в пользу табаку вообще, а нюхательного (за 8 коп. осьмушка) в частности, что тот снова незаметно применил пальцы к выбиванию дробы, но уличенный на месте преступления был Анной Ивановной отправлен гулять на бульвар. Старик любил посидеть на солнышке и охотно подчинился административной высылке, пробормотав лишь что-то нелестное по поводу «этих баб», которые думают, что мужчина сам себе и шарфа завязать не сумеет.

Следом за ним отправилась и Анна Ивановна, накинув на голову дырявый прожженный платок. Через полчаса она вернулась домой с решительно и мрачно сжатыми губами и пасмурным лицом, на котором застыло выражение вечной торопливости и суеты. «Жизнь каторжная», — прошептала Анна Ивановна, сбрасывая платок и одевая теплую кофту для дальнего пути. Мерзавец-лавочник не дал в долг ничего, как будто ему двадцатого не отдадут, и теперь приходится обращаться к последнему ресурсу и бежать на край Москвы, к знакомой и другу Елизавете Петровне Синицыной, у которой всегда можно раздобыться целковым.

«Ну, да уже погоди, скотина, — мыслила Анна Ивановна, вспоминая толстопузого лавочника, — я тебе покажу». Хотя определенного предмета для демонстрирования в виду собственно не имелось. Уличный шум и суета, где все бежали по своему делу и никому не было заботы об Анне Ивановне, охладили ее, а крики извозчиков «берегись» и предостерегающие звонки конки, постоянно пугая ее, направили мысли в другую сторону — сторону бесформенных, туманных мечтаний, которым любила отдаваться Анна Ивановна. Но в эти мечты назойливо вторгалась действительность, предлагая Анне Ивановне, как строгий учитель математики, разрешить следующую задачу: в рубле сто копеек; от 16-го до 20-го четыре дня; в доме ртов пять, — как нужно разделить сто копеек, чтобы все пятеро во все четыре дня сыты были?

Решение этой задачи с головой погрузило Анну Ивановну в бездонное море размышлений о сравнительных преимуществах картофеля с постным маслом перед говядиной. Как маленький островок, возвышался на этом море целковый, а вокруг него кишели, как чудовища, и картофель, и постное масло, и хлеб и грозили бесследно поглотить его.

«А старику табачку я все-таки куплю!» — с гневным отчаянием воскликнула Анна Ивановна, видя, что от островка ничего не остается. Утешенная несколько энергией этих слов, как будто прибавивших к рублю несколько новых копеек, Анна Ивановна незаметно вернулась к своим мечтам, не имевшим выражения и языка человеческого.

Что-то светлое и радостное пронеслось перед ее полузакрытыми глазами. Передернув от внутренней дрожи плечами, Анна Ивановна вздохнула и оглянулась, чтобы определить место, где она идет... Стой, что это за сверток?

Анна Ивановна переходила через пустынную Спиридоньевскую улицу, когда ее глаза упали на этот сверток, обернутый бумагой и крест-накрест перевязанный бечевкой. Оглянувшись кругом, Анна Ивановна подняла его и, томимая любопытством и ожиданием чего-то важного, начала сбоку проковыривать газетную бумагу, тревожно озираясь по сторонам. Вот провался один лист, другой — и Анна Ивановна ошалела, увидев покрасневшуюся десятирублевую бумажку. Дрожащими руками она отвернула ее — за ней другая, третья, а там радужная, целая пачка их.

«Миллион!» — сообщила Анна Ивановна.

Засунув сверток под кофту и судорожно прижимая его руками, она ринулась домой, едва удерживаясь от быстрой, но неуместной и подозрительной рыси. Где-то вокруг нее шумела улица, но ничего этого не видела и не чувствовала Анна Ивановна.

«Рехнусь, ей-богу, рехнусь, — думала она, вплотную налетая на извозчика, приветствовавшего ее свойственным этим господам образом. — Господи, для детей пощади меня». Анна Ивановна пролетела бы и мимо дома, если бы не увидела ожидавшего ее возвращения старика, кислого и угрюмого: «что и за солнышко, когда табаку нет».

Схватив мужа за рукав, Анна Ивановна столь стремительно потащила его в квартиру, что тот, проглотив почти готовый возглас «табачку бы», занялся обсуждением вопроса о возможных последствиях неминуемого столкновения со стоящей во дворе лестницей. Только впихнув старика в дверь, заперши ее на крючок и опустив у окон занавески, Анна Ивановна молча плюхнулась на стул и позволила себе перевести дыхание, уставившись полоумными глазами на старика. Семен Матвеевич смотрел на нее с тем же выражением, но, чувствуя, что опасность миновала, осмелился высказать по этому поводу свое суждение:

— Вот эти бабы, таракан им за пазуху. Когда я еще у Трифона Андреича воспитывался...

— Молчи, отец, молчи. Сиди и не ходи за мной.

Анна Ивановна отправилась в кухню и после нескольких неудачных попыток спрятать деньги под горшками и в печке, сунула их в самый зад столового ящика, заложив ножами и ложками, но предварительно еще раз удостоверившись, что в свертке деньги, а не простая бумага. Верхняя десятирублевка несколько сдвинулась с места, и Анна Ивановна осторожно ее вытащила и спрятала на самое дно кармана.

«Батюшки, а вдруг гонятся!» — мелькнула у нее мысль.

— Старик, сиди тут, я сейчас сбегаю на минутку. Никуда не ходи, слышишь.

Семен Матвеевич, совершенно отказавшийся понять поведение жены, только угрюмо застучал пальцами.

— Табачку бы...

— Куплю, куплю, сиди.

Для верности заперши старика на замок, Анна Ивановна из — за ворот выглянула осторожно на улицу: никого, никого, слава богу. Потом, чувствуя неодолимую потребность в движении и желание убедиться, что деньги совсем настоящие, Анна Ивановна еще раз сбежала домой, оделась и пошла в какую-то лавку, где чего-то купила: колбасы, сыру и коробку сардин; в другой: две пары теплых носок, гребешок, яркий голубой галстук, книжку с картинками. О табаке вспомнила только около дома, вернулась и купила табаку. Дома, убедившись, что деньги целы, отдала осьмушку — «и чего я не фунт купила» — Семену Матвеевичу и в приливе внезапной нежности поцеловала его.

— Нюхай, отец, на здоровье.

Старик принял молодцеватый вид, как бы показывая, что он далеко еще не безопасен для женского сердца, но на самом деле совершенно озадаченный супругой.

Никогда Анне Ивановне не было так обидно, что с мужем нельзя поговорить толком. Тут мужчине надо, а он... Эх. Но радостные мысли, роями повывишаясь в голове, требовали выражения.

— Матвейч, слушай. Да ты погоди чхать-то! Слушай: а хорошо бы тебе опять в деревню, помнишь, как у Ермоловых жили. Грибы искать...

— Вот когда я еще жил у воспитателя...

— Да не то, не то. Ты слушай!

И старик слушал, смутно понимая, в чем дело, но невольно расцветая при радостно возбужденном голосе жены — удивительной жены, таракан ей за пазуху! В действительности не только Семен Матвеевич, но и всякий другой, менее удаленный в прошлое, едва ли сумел бы понять полностью речи Анны Ивановны, которая, став вне законов времени и пространства, в какой — нибудь час поспела перебивать в тысяче мест и переводить тысячу людей, давно умерших. Благодетельствуя одним, заставляя завидовать других и в лицах изображая их невероятное изумление, когда они увидят ее в ротонде на лисьем меху и с собольим воротником, Анна Ивановна внезапно перескакивала к вопросу о ценах на мех и бархат и спрашивала старика, как человека, достаточно повидавшего свет и компетентного в делах моды. Но так как предлагаемые им сведения относились к тому отдаленному периоду, когда он проживал еще у воспитателя, Анна Ивановна призывала его к молчанию и ставила на обсуждение другой вопрос: о местности, где следует приобрести именье, небольшое, десятин так в сто, но обязательно с лесом, а в лесу чтобы грибы были. В этом случае Семен Матвеевич обнаружил такую мудрость, в коротких словах начертав блестящую программу рационального хозяйства, что Анна Ивановна впала в умиленное состояние и еще раз поцеловала его в седые волосы, с раскаяньем подумав: «А я считала, что он тронулся. Дай Бог всякому столько ума-то».

И хотя старик испортил несколько впечатление, вспомнив некости чалого жеребца, на котором ездил воспитатель и который потом перешел к графу Мухину, у которого жена имела крупное состояние в Волынской губернии, а один знакомый человек, очень вспыльчивый и неумеренный в потреблении алкоголя, умер за границей в то как раз время, когда дотла выгорел город Кромь, но Анна Ивановна все же с некоторой гордостью посматривала на «отца», воображая, каким он будет красивым и представительным, когда его нарядят как следует и он будет пускать пыль в глаза золотой табакеркой и сморкаться не в красный коленкоровый платок, а в настоящий шелковый.

А Ваничка-то, Ваничка-то! Анна Ивановна даже охнула, когда представила себе, что она может сделать для больного Ивана Семеновича. Мозг ее, привыкший к узкому кругу обыденных мелочей, не мог вместить представлявшейся ей картины невероятного, сказочного счастья, и она снова заметалась по квартире к некоторому негодованию только что разговорившегося старика.

«Рехнись, ну ей-богу же, рехнись», — взывала Анна Ивановна, созерцая мысленно бесконечный ряд могущественных радужных бумажек. А вдруг отнимут? Не отдам, ни за что не отдам. Лягу на них и скажу: берите мою жизнь, вот она; бейте меня, старую. Не возьмут! А если кто-нибудь видел в окно, как я поднимала, и следил за мной, и теперь уже идут?.. Анна Ивановна, убежденная, что на нее смотрит весь мир, плотнее задернула грязные, пожелтевшие от старости занавески, нырнула в кухню и, достав деньги, снова попыталась спрятать их в горшок, к которому ее притягивала какая-то невидимая сила. Но и на этот раз опыт дал нежелательные результаты: горшок, когда в него сунули деньги, приобрел такой заносчивый и странный вид, что всякий, только взглянув на него, должен был догадаться о его необычном содержании. Бросив в изнеможении деньги на стол, Анна Ивановна упала на колени прямо на грязный и залитый помоями пол.

— Господи, ну пускай воровка я и мерзкая женщина — ну, и накажи меня. Но Ты видишь, видишь ведь Ваню. Он хороший сын. Что из того,

что он кричит на меня. Я старая, я глупая, а у него чахотка, и ему жить хочется. Ты слышал, как вчера кашлял он? Если не веришь мне, так хоть слезам моим поверь. Богородица, Дева Мария, хоть Ты заступишься за меня, я всегда — помнишь, всегда свечки Тебе ставила, последние две копейки тратила.

И Анна Ивановна, стиснув руки и устремив полные слез глаза в угол, где, занесенный паутиной, чернел старый образ, клала земной поклон, до боли прижав лоб к холодному, сырому и скользкому полу.

Шел уже пятый час вечера, скоро должны были вернуться дети. Успокоившаяся, умиленная и торжественно радостная, Анна Ивановна обратилась к старику:

— Матвейч, я часа на два уйду, а ты, когда придут дети, дай им колбасы и сыру. И сам ешь. А если кто придет и меня будет спрашивать, скажи, по делу, мол, ушла, по делу. Давно, мол, собиралась, да времени не было. Понимаешь?

— Вот! — обиделся старик. — Уж как баба что скажет...

— Ну, не сердись, отец, не сердись. Ты у меня герой.

Вытащив из пачки еще десятирублевку и спрятав ее в комод,

Анна Ивановна остальные завернула в новую бумагу, еще раз перевязала и засунула за пазуху, оделась и, окинув последним взглядом квартиру, вышла. Дело в том, что результатом ее размышлений явилось сознание, что хранить деньги дома не безопасно: придут, и что так ни говори, а отнимут. Да и не сумеет она не начать сразу же тратить их — подозревать начнут... А вот лучше она снесет их к Елизавете Петровне; та женщина благородная, сохранит их до поры до времени. А они пусть приходят. «Десять рублей?»

«Извольте-с, от жалованья остались».

Съели?

Анна Ивановна усмехнулась, представляя себе глупые физиономии тех, которые «придут». Понемногу мысли ее снова вернулись к Ване, о котором наболело ее сердце. Перестанет теперь убиваться за работой, вздохнет посвободнее. Суровый он на вид, сердитый, а разве она не знает, что, в сущности, жалеет он ее, ах как жалеет. Последние денежки несет, а самому и в театр хотелось бы, и приодеться. Думаешь, мать не видит? Мать все видит. А вот что скажешь, как эта старая мать вынет тысячу рублей и скажет так с улыбочкой, как будто ничего важного нет: Ваничка, не хочешь ли в теплые места прокатиться? Вот тебе пока тысяча рублей, а когда еще понадобится, скажи. А Катя? Славная она девочка, всем взяла: и хозяйственная, и покорная, и лицом недурна, только вот работа-то ее: не доведут подруги до хорошего. Вот теперь поздно иногда возвращаться стала — танцевали, говорит, где-то. А долго ли девчонку загубить? Может, и ничего такого нет, а материнскому сердцу больно.

Далее выяснилось, что материнскому сердцу больно и за Петьку, который плохо учится и которого нужно будет отдать в гимназию — пусть хоть один до полного разума дойдет. Потом материнскому сердцу стало тепло при виде сына, студента и умницы. Потом рой за роем понеслись мечты, одна другой краше, одна другой фантастичнее. Невероятная роскошь братски сочеталась с новым горшком, в котором Анна Ивановна будет ши теперь варить, вместо старого, надтреснутого. Мысль о дьявольски толстом кучере и гладких лошадях сменялась гордым сознанием, что она, если захочет, может хоть две, хоть три станции проехать на конке: денег хватит!

Так шла Анна Ивановна, не видя дороги и не сознавая окружающего.

Иван Семенович, Катя и даже Петька понимали, что дома творится что-то чудное, но хорошее. Их не столько убедило в этом необычайное отсутствие матери и дорогая колбаса вместо плохого обеда (16 числа!), сколько торжественный и глубокомысленный вид Семена Матвеевича. Строго посматривая на детей, Семен Матвеевич выпускал целый ряд сентенций, в которых намеки на имение в сто десятин с образцовым хозяйством в самый интересный для слушателей момент сменялись непререкаемым возвратом к прошлому, когда он еще жил у воспитателя и имел синие казинетовые брюки, сшитые у тогдашнего знаменитого портного, Афоньки, который, как явствовало из дальнейшего подробного повествования, кончил, к сожалению, жизнь очень дурно: опившись на свадьбе другого не менее знаменитого портного, того самого, который пока шьет все ничего, и брюки, и камзол, — а как только дошел до жилета, сейчас всю эту амуницию в кабак и пошел чертить...

Иван Семенович пытался направить речь в русло, но что могли сделать его слабые усилия, когда самый опытный следователь мог десять раз с ума сойти, прежде чем добился бы от старика ответа. Но и редкие прорывавшиеся намеки показывали, что случилось что-то важное, и дети с возрастающим нетерпением стали ожидать Анну Ивановну. Иван Семенович, собиравшийся прилечь на часок отдохнуть, отложил свое намерение.

Но нетерпеливее всех был, кажется, Петька. С некоторых пор его задушевной мечтой стало бросить ученье и сделаться — «фалетором», т.е. форейтором на конке. Образ маленького мальчика, бесстрашно восседающего на большой лошади и со звоном и криком втаскивающего конку на гору, — носился перед его глазами. Теперь Петьке думалось, что отсутствие его матери находится в какой-то зависимости с осуществлением его блестящих планов. Часы протекали, и беспокойнее становились дети, ожидая появления матери.

И вот она появилась.

Раздались нетвердые шаги, чьи-то руки заерзали по поверхности двери, видимо не находя ручки — и из темного пространства коридора выступила на свет какая-то жалкая фигура. За всю жизнь старик не видел жены в таком виде; волосы выбились из-под платка и мокрыми прядями висели вдоль бледного лица; платок сбился на сторону; ватная кофта была распахнута, и одна пуговица, вырванная, очевидно, с мясом, болталась на тоненьком остатке сукна. Покачиваясь и шурша мокрым подолом платья, Анна Ивановна добралась до стула и упала на него, бессильно свесив голову на бок, как будто шейные мускулы отказывались служить ей. Вид матери был так необычайно ужасен, что старшие остолбенели, а отличавшийся быстрым соображением Петька, не ожидая специального приглашения, заревел во всю силу своих легких.

Его голос привел Анну Ивановну в чувство. Она вскочила и, дергая себя за висящие пряди волос, видимо уже не впервые подвергавшиеся этой операции, заголосила:

— Деточки, голубчики, убейте меня, мерзавку. Потеряла! Разорила вас! Снимите же вы мою голову! Ой, ой...

Анна Ивановна выразила намерение удариться головой о стенку, но Иван Семенович удержал ее.

— Мать... мамочка, что с тобой?

Бессвязные крики неслись, все более переходя в истерический вой. Бледная и дрожащая Катя принесла, расплескивая, воду. Старик, совсем потерявшийся, выхватил кружку и, пробормотав бессознательно что-то о таракане, вылил на голову жены, заставив ее раскашляться от попавшей в

раскрытый рот воды. Затем старик отправился в кухню, постоял несколько времени на середине ее, с глубокомысленным видом обшарил все карманы, нашел в одном пуговицу и в другом обгрызенный кусок сахара и, убедившись, что это и есть именно те самые вещи, которые ему нужны, возвратился в комнаты. Анна Ивановна уже немного успокоилась и только судорожно всхлипывала. Но много прошло времени, прежде чем она, перебивая себя просьбами убить ее и не жалеть, подробно рассказала, как она пошла к Елизавете Петровне, как она нашла деньги...

— Больше тысячи! — скривила душой Анна Ивановна. Как кто-то ее толкнул, не то она кого-то. Она упала, и ее выругали. Потом...

— Нет, лучше убейте меня, деточки милые. Я, подлячка, разорила вас, по миру пустила...

Что-то смутное потом. Она бегала и что-то кричала. Кто-то светил ей спичками, и она шарила руками по мокрому снегу, искала потерянные деньги...

Во внезапном порыве недоверия к своим чувствам Анна Ивановна оттолкнула Катю, бросилась в кухню и рванула ящик, где еще, кажется, пахло лежавшими там деньгами. Пусто. Так же быстро Анна Ивановна побежала к комоду, вынула десятирублевку и, присоединив к ней остальную мелочь, бросила на стол перед детьми:

— Вот. Все тут.

Иван Семенович, до этой минуты сомневавшийся в действительности рассказанного матерью, молча взял бумажку, поднес к близоруким глазам и осмотрел. Также молча и осторожно он положил ее на стол и начал медленно ходить по комнате. Он заметно старался не глядеть на разом притихшую мать, следившую за ним испуганным взором. Катя продолжала ухаживать за Анной Ивановной, но в медленных и ненужных движениях сквозила та же дума, что и у брата. Подогнанный стариком Петька отправился спать, но долго еще лежал в постели, всматриваясь широко открытыми глазами в темноту и прислушиваясь к тому, что делают старшие. Но у них было тихо. Равномерно похлопывали туфли Ивана Семеновича; шмурыгал носом и что-то бормотал старик. Глубокие вздохи, очевидно, принадлежали матери, так как Катя никогда не вздыхает. Во всяком случае, Петька делается фалетором и учиться не будет. Довольно уж, поучился!

Иван Семенович круто остановился перед матерью и вполборота спросил:

— А ты не помнишь... где уронила деньги?

— Не помню, не знаю. Кажется, в Газетном... Ох, горе мое.

— Молчи, достаточно.

Иван Семенович отправился в переднюю, медленно снял с вешалки пальто, одел его, отыскал калоши, отбросил их ногой в сторону и так же медленно разделся.

— Ваничка!

— Ну, нечего, нечего, теперь не вернешь. Идите-ка спать, — спокойно сказал сын, но не стерпел и порвавшись голосом добавил: — эх!

— То-то и я говорю: бабы, таракан им за пазуху, — авторитетно подтвердил старик и в унисон протянул: — эх...

Было, вероятно, больше часу пополуночи. В маленькой квартирке царила беспоконная тишина ночи. Где-то скреблась и шуршала бумагой мышь; вверху по лестнице простучали тяжелые шаги; слышно было, как дергают звонок, голоса, потом хлопнула дверь. Иван Семенович надрывисто кашлял; по тону кашля и по тому, как скрипит кровать, видно было,

что он еще не спит. Катя тоже не спала, слушала, как ворочается мать, и ей стало жалко ее.

Осторожно опустив на холодный пол босые ноги, Катя перешла к кровати матери, прилегла возле нее и поцеловала мокрую от слез щеку. Обе женщины, крепко обняв друг друга, слились в тихом плаче, потому что Иван Семенович не должен был слышать его.

Вскоре им стало легче, и Катя, бессознательно глядя рукой по морщинистому лицу, начала думать о том, как завтра ей в • семь часов вставать и идти на работу. Анна Ивановна тихо прошептала:

— Катечка...

— Что, голубочка?

— А знаешь, я думаю... Нужно Ване из этих десяти рублей фуфайку купить. А?

— Да, мамочка.

— Слава богу, хоть до двадцатого теперь проживем.

— Да, мамочка.

— А галстук, голубой... Ты утром к нему на стол положи.

— Хорошо, мамочка.

МОЛОДЕЖЬ

Ученик восьмого класса Шарыгин дал пощечину своему товарищу Аврамову и чувствовал себя правым и оттого радостным и гордым. Аврамов получил пощечину и был в отчаянии, смягчавшемся лишь сознанием, что он, как и многие другие в жизни, пострадал за правду.

Дело было так. На классной стене с начала учебного года висело в черной рамке расписание уроков. Его не замечали до тех пор, пока Селедка, как звали надзирателя, подойдя однажды к стене, не обратил внимания класса на то, что лист с расписанием исчез и рамка пуста. Очевидно, это была ребяческая шалость, на которую солидная часть класса, обладавшая растительностью на лицах и убеждениями, отвечала добродушно-снисходительной улыбкой, — той улыбкой, которая появлялась у них, когда Окуньков ни с того ни с сего становился на руки, поднимал ноги и в таком виде обходил комнату. Хотя все считали себя взрослыми, но никто не был уверен, что в следующую минуту и ему не вздумается прогуляться на руках. Селедка, кипятившийся из-за таких пустяков, как исчезнувшее расписание, вызывал к себе юмористическое отношение. Был вставлен новый лист, — но на другой день рамка была опять пуста. Это становилось уже глупым, и потому, когда Селедка в безмолвном гневе растопырил длинные руки перед стенкой, к нему обратились с серьезным предположением, что расписание стащили, вероятно, первоклассники. На третий день в раме вместо расписания был вставлен лист, на котором выделялся тщательно оттушеванный кукиш. На предложение сознаться, класс, не менее начальства удивленный появлением рисунка, ответил недоумевающим молчанием. Было произведено следствие, но оно не привело ни к чему: хотя в классе художников было мало, но кукиш умели рисовать все. Последним созерцал рисунок сторож Семен, вынимавший его из рамки; и тому показало что-то оскорбительное в кукише, относившемся как будто прямо к нему, к Семену. Будучи по природе толст, добр и глуп, Семен впервые стал на сторону начальства и посоветовал классу сознаться, но был послан к

черту. Наступил четвертый день — и еще более изящный, крупный и насмешливый кукиш снова пятнал стену.

Речь инспектора у класса успеха не имела. Горячий и вспыльчивый чех, говорить он начинал спокойно, но после двух фраз наливался кровью и, как ошпаренный, принимался выкрикивать фальцетом бранные слова:

— Мальчишки!.. Молёкососы!..

Директор произнес суховатую, но убедительную речь. Он разъяснил притихшим ученикам бесцельность подобной детской шалости, которая, однако, перешла уже границы. Шарыгин, в критические минуты говоривший от имени класса с начальством, встал и ответил директору:

— Мы все вполне согласны с вами, Михаил Иванович, и уже толковали об этом. Но только никто среди нас этого не делал, и все удивлены.

Директор недоверчиво пожал плечами и сказал, что если виновные сознаются, они наказанию подвергнуты не будут. В противном случае он, директор, поставит за эту четверть «тройку» из поведения всему классу и, что важнее всего, не освободит от платы за право учения всех тех, кто в первое полугодие был освобожден. Ученики должны знать, что он свое слово держать умеет.

— Но если же никто не хочет сознаться!

Михаил Иванович заметил, что в этом случае класс должен найти виновного. Это не будет нарушением товарищеских отношений, так как, не желая сознаться из упорства или ложного самолюбия, виновный подводит других под очень строгое наказание и *ipso*¹ сам исторгает себя из товарищеской среды.

Директор ушел, и класс занялся бурным обсуждением вопроса, в котором начальством была открыта новая сторона. Из-за того, что какой-то осел, устроивший всю эту дурацкую шутку, не хочет сказать двух слов, несколько бедняков должны вылететь из гимназии! На большой перемене директор был вызван из кабинета Шарыгиным и двумя другими воспитанниками. Директор вышел в коридор с папиросой в зубах; у него был важный посетитель, и он торопился. Шарыгин от имени класса заявил, что виновных они точно указать не могут, но подозревают троих: Аврамова, Валича и Основского. Класс полагает, что этим заявлением он снимает наказание с остальных.

Быстро, но внимательно взглянув на Шарыгина, Михаил Иванович похвалил его и сказал, что о заявлении класса он подумает. Похвала директора была приятна Шарыгину, хотя раньше он гордился тем, что начальство считает его вредным для класса элементом.

Когда Шарыгин подходил к классу, навстречу ему выбежал Рождественский. Во время дебатов он суетился и кричал больше всех и всем надоедал.

— А Аврамов тебя подлецом назвал! — с поспешностью сообщил он, радуясь продолжению суматохи и беспорядков.

Аврамов стоял, прислонившись к печке, бледный, как сама печь, и презрительно, поверх голов, смотрел в сторону.

— Аврамов! Ты назвал меня подлецом?

— Назвал.

— Прошу тебя извиниться.

Аврамов молчал. Класс с напряженным вниманием следил за происходящим.

— Ну?

Тут вошел батюшка (был его урок), и все неохотно разошлись по местам. Минуты тянулись страшно медленно. Как будто время не хотело дви-

¹ вследствие того (*лат.*)

гаться с места, предвидя то нехорошее, что должно сейчас произойти. Шарыгин, сидевший на последней парте, раскрыв перед собою какой-то роман и делал вид, что читает, но изредка смотрел вперед, с новым для него чувством любопытства рассматривая согнутую спину и опущенную над книгой голову Аврамова. Волосы у Аврамова были черные, прямые, и пальцы руки, на которую он опирался, резко белели. Думает ли он сейчас, что через несколько минут на его щеку обрушится удар, от которого щеке будет больно и она покраснеет? Какая это боль: резкая, жгучая или тупая? Сердце у Шарыгина начинает тяжело и медленно колотиться, и ему смертельно хочется, чтобы ничего этого не было: ни класса, ни Аврамова, ни необходимости ударить его. Но он должен ударить. Он чувствует себя правым. Товарищи перестанут уважать его, если он оставит незаслуженное оскорбление безнаказанным. Шарыгин перебирает все речи, свои и чужие, которые сегодня говорились в классе, и ему все яснее становится, как незаслуженно, несправедливо Аврамов оскорбил его. Чувство злобы к этой черной голове и белым пальцам поднимается и растет. Шарыгину немного страшно, потому что Аврамов — сильный и, конечно, ответит ударом, но он должен ударить, и ударит. Резкий, продолжительный звонок по коридорам. Батюшка медленно идет к двери. За ним, разминая усталые члены, идут ученики, когда нервный, до странности громкий голос Шарыгина останавливает их:

— Господа! Одну минуту!

Некоторые из господ, забывшие, что было на перемене, оборачиваются и с удивлением смотрят на Шарыгина. Что это у него такая дикая физиономия? Шарыгин подходит к Аврамову.

— Так ты не хочешь извиниться?

Ах, да!.. Неприятная дрожь пробегает по спинам, и лица бледнеют. Всем хочется отвернуться, но никто не имеет сил сделать этого, и все, моргая ушатенно глазами, смотрят на безмолвную группу, думая лишь о том, чтобы это поскорее кончилось. «Философу» Мартову хочется толкнуть Аврамова, чтобы он извинился. Наклоняясь вперед, Мартов глазами старается выжать необходимый ответ.

— Нет, — отвечает Аврамов. — Ты...

Шарыгин не сознает, как он поднимает руку и бьет, и не чувствует силы удара. Он видит только, как пошатнулся Аврамов. Подняв левую руку для защиты лица, Шарыгин бросает взгляд в сторону и замечает курносое и обыкновенно смешное, а теперь побелевшее и страдальческое лицо философа Мартова. «А он-то чего?» — думает Шарыгин. Его возвращает к сознанию действительности прерывающийся голос, в котором слышится и кроткий упрек и жгучее страдание. Белые пальцы поднятых рук скрывают лицо и не дают понять, что говорит Аврамов.

— Бог... тебя Бог...

Шарыгин презрительно передергивает плечами и отходит, засунув руки в карманы.

Солнце ослепительно сияло, когда Шарыгин возвращался домой. На плохо очищенных тротуарах провинциального городка стояли лужи растопленного снега, отражая в себе фонарные столбы и под ними голубую бездну безоблачного неба. Весна быстро приближалась, и острый, свежий воздух, пахнувший талым снегом и далеким полем, очищал легкие от клас-ной пыли. Каким темным и душным казался этот класс! Душным и тяжелым сном казалось и то, что час тому назад произошло в классе и что не могло бы и произойти здесь, где так радостно сияет солнце и задорно-весело чирикают воробьи, ополоумевшие от весеннего воздуха. Но мысль не-

вольно возвращалась назад, и чувство брезгливой жалости к Аврамову омрачало светлое настроение Шарыгина. Можно ли быть таким трусом, как этот несчастный Аврамов! Не он один, а и весь класс увлекался грандиозно величавым учением о непротивлении злу, но применять это учение в жизни может лишь дряблая натура, неспособная к протесту. Всеми силами отстаивай каждую свою мысль, свое правое дело. Зубами, ногтями борись за него. Быть же битым и молчать сумеет и мерзавец.

Шарыгин чувствует, что у него, как у нового Ильи Муромца, сила переливается по всему телу. Так и бросился бы врукопашную с этим, пока еще смутно сознаваемым злом, и бился бы с ним, стиснув зубы и сжав кулаки, бился бы до последнего издыхания. Ах, поскорее бы кончить эту гимназию! А пока... пока только особенно твердая поступь да более обыкновенного выдвинутая вперед грудь показывали, что это идет человек, победоносно отстаивший свое право на звание честного человека.

Солнце, так много видевшее на своем веку, с любовной лаской согрело молодую голову, над которой, неведомо для нее, уже висело первое серьезное горе.

Оно началось в тот же вечер.

Первый, кому Шарыгин рассказал о происшедшем случае, была Александра Николаевна, гимназистка восьмого класса, которую он любил и считал умной и «развитой». Впрочем, умной она казалась ему, пока соглашалась и не спорила. Споря, она так легко расставалась с логикой, становилась так пристрастна и нелепо упряма, что Шарыгин начинал удивляться, та ли это женщина, при поддержке которой он намеревался «бороться с рутинной жизни». Другим она нравилась именно во время спора, но Шарыгин не понимал их вкуса. Кроме того, она обладала неприятной способностью подмечать то, что желательно было бы не обнаруживать.

— Напрасно ты гордишься, — ответила Александра Николаевна. — Ты поступил подло.

Он гордится! Что за нелепость! Он просто исполнил свой долг честно, именно честного человека. Думая, что Александра Николаевна не поняла, он вновь подробно остановился на тех фактах, которые неопровержимо устанавливали его правоту в этой «неприятной» истории. Весь класс уговаривал Аврамова и других сознаться, выставляя на вид, что иначе из-за глупой шутки понесут наказание неповинные. «Тройка» поведения — ерунда, но в классе есть двое учащихся на казенный счет, которые должны будут уйти из гимназии. Отсюда Шурочка должна видеть, что он лично, человек состоятельный, в деле не заинтересован.

— Пустяки. Директор просто врал, как изеуит, а вы ему поверили, как дураки. И шутка вовсе не так глупа. Этот кукиш мне очень нравится, — решила безапелляционно Шурочка, не подозревая, какой она делает скачок в сторону с строго логического пути, по которому шествовал Шарыгин.

Выразив нетерпение и едва за кончик хвоста успев схватить ускользающую мысль, он начал развивать дальнейшие положения. Весь класс решил сообщить...

— То есть донести, — поправила Шурочка.

...Сообщить, что подозревает таких-то. Понимает ли Шурочка, что решил именно класс, а он был уполномоченным, передававшим решение класса?

Оказалось, что Шурочка этого не понимает. Шурочка полагает, что уполномоченный должен передавать только хорошие решения, а не дурные.

Это уже был такой скачок в сторону, что Шарыгин не успел схватить ускользнувшую мысль и казался вовлеченным в дебри ненужного спора о правах и обязанностях уполномоченных. Спор был бы бесконечным, если бы Шарыгин не воспользовался приемом почтенного противника и, махнув рукой, не перескочил на ту мысль, которая была нужна ему. Раз он был простым исполнителем воли класса, почему именно он подлец, а не Потанин и не весь класс?

— Да и все подлецы, — решила, не задумываясь, Александра Николаевна.

Шарыгин сердито рассмеялся.

— Ну, а почему же он именно меня назвал подлецом?

— Вероятно, ты больше всех настаивал, чтобы идти к директору. Во всяком случае, это фискальство, гадость!

Логика полетела к черту. Шарыгин потерял под собою почву и беспорядочно начал выдвигать те и другие орудия, повторяясь, путаясь, злясь на себя, на Шурочку, на мир, создающий Шурочек. И он объяснял и доказывал до тех пор, пока сам не перестал понимать, кто он, что он и чего ему нужно.

— Да это не спор, а какой-то танец диких! — с отчаянием воскликнул он.

Шурочка рассмеялась и спросила:

— А каков он собой — этот Аврамов?

— Прикажете познакомить?

— Это глупо — сердиться из-за пустяков.

— Пустяки! Назвать человека подлецом и говорить: «Пустяки!»

Шарыгин сердито отдернул свою руку и с ненавистью взглянул на раскрасневшееся на морозе хорошенькое личико. Как приличествует гимназисту и гимназистке, они виделись на улице тайно от родителей, хотя никто не мешал им видеться явно.

— Ну, будет, будет! Вашу руку, маркиз Поза! — Шурочка взяла руку Шарыгина, согнула ее кренделем и, вложив свою ручку, тронулась в путь. Шарыгин подергал руку, но ее держали крепко. Пришлось подчиниться. Так вот всегда бывает с этими женщинами!

Вернувшись домой, Шарыгин пошел к отцу в кабинет и, закурив папироску, рассказал ему, подробно останавливаясь на мотивах, всю историю. К его удивлению, и отец заметил, что здесь припахивает фискальством. Страдая от непонимания, Петр повторил свои доводы, стараясь обосновать их теоретически. Он говорил, что когда один предаст всех, это дурно, но когда все предадут одного, это означает торжество принципа большинства.

— Так-то оно так, а все-таки как-то... Да ты не волнуйся. Все это пустяки, а вы завтра же помиритесь с этим, как его...

И этот говорит: пустяки!

Как они все не могут понять, что это не пустяки, что он страдает, что он готов убить себя, так ему больно. Но он не поддастся им! Он еще докажет им, как глубоко все они ошибаются. За ним стоит еще весь класс! Шарыгин ложится спать, останавливаясь на тех мыслях, которые он еще не успел сказать и скажет завтра. Что-то мучительное, однако, сосет его сердце. «Но разве поступать честно всегда приятно! — успокаивает он себя. — Есть честность ума и честность инстинкта, вот как у папы и у... этой женщины. Конечно, неприятно, когда идешь против инстинкта, но разве инстинкт не лжет?» Придуманно было красиво, и Петр на минуту успокоился, но,

вспомнив, как его похвалил сегодня директор, почувствовал, что лицо его и шею охватило жаром. Краска стыда залила его щеки. Бессознательным движением Шарыгин натянул на голову одеяло, как будто в этой пустой и темной комнате кто-нибудь мог видеть его.

Прошло три дня. Начальство не сочло почему-то нужным придавать значение коллективному заявлению класса, и «заподозренные» беззаботно разгуливали по коридору. По безмолвному соглашению класс ни словом не вспоминал о происшедшей истории и с особенной предупредительностью относился к Аврамову. Посторонний наблюдатель едва ли бы заметил, что в классе что-то случилось. Но Шарыгин чувствовал это. Двое заподозренных, охотно говорившие со всеми своими обвинителями, не замечали Шарыгина и не отвечали на его попытки вступить в примирительную беседу. Остальные с виду держались по-прежнему, но одна мелочь глубоко кольнула Шарыгина. Прежде, каждую почти перемену, на Камчатке, где сидел Шарыгин, собиралась кучка товарищей и вступала в споры самого разнообразного содержания, начиная Писаревым и кончая теориями мироздания. Теперь же никто не приходил, и Шарыгин, любивший говорить и слушать себя и видеть, как внимательно слушают его другие, остался один. Философ Мартов с выражением какой-то глупой боязни сторонился от него, точно драка составляла постоянное свойство шарыгинского характера. Однажды Шарыгин поймал на себе взгляд преданного ему Преображенского, и в этом взгляде сквозило не восхищение, к которому он привык, а, противно сказать... сожаление.

«Мерзавцы!» — думал Шарыгин, включая в это понятие весь класс и всех, кто находился за ним. Ему было нестерпимо больно и обидно, что в предательстве виноваты все, а наказание несет он один.

— За что, мерзавцы? — со злостью спрашивал Шарыгин, чувствуя, что даже Преображенский, который больше всего суетился и кричал в пользу доноса, теперь презирает его, Шарыгин вызывающе смотрел на товарищей, говорил резкости, толкал заподозренных, не вызывая отпора и лишь возбуждая недоумение, так как большинство и сами не замечали, как они переменились к нему. Однажды он громко заговорил о том, что странно, почему директор до сих пор не принимает никаких мер, но все разошлись, притворяясь, что не слышат, а Преображенский, которого он прижал к стенке, согласился с ним, но имел такой жалкий вид, что Шарыгин отпустил его.

— Экие все дряни! — крикнул он, но ответа не получил. Шарыгину хотелось, чтобы кто-нибудь поговорил с ним, убедил его, что он неправ, даже побил его, но только не молчал.

Учителя, казалось Шарыгину, тоже косились на него. Бочкин, преподаватель истории, резкий и независимый господин, потешавший класс своими шуточками, а директора в совете доводивший до чертиков, сказал: — Доносиками заниматься вздумали? О будущие граждане российские!

Он обращался ко всему классу, но Шарыгин подумал, что это относится к нему одному. Обычный «кол», третий по счету, украсивший в этот день клетку журнала против фамилии Шарыгина, не сопровождался шутивными замечаниями, показывавшими, что, хотя Бочкин и ставит единицу за незнание урока, все же считает его развитым и знающим.

— До сажени много еще осталось? — спросил Шарыгин, но Бочкин не ответил.

«Скотина!» — подумал Шарыгин, и ему захотелось заплакать. Дома тоже было не лучше. На свидания к Шурочке он не ходил, и та прислала

уже записочку (с двумя орфографическими ошибками), справляясь об его здоровье и настроении. «Милый!» — хорош «милый», — подумал Шарыгин и, выбрав на диване местечко поудобнее, поплакал, удивляясь, как это он, умный малый, — а до сих пор не знал, что плакать составляет такое удовольствие. Это было в субботу. В воскресенье Шарыгин, против обыкновения, никуда не пошел и весь день посвятил странным занятиям, которые окончательно могли бы дискредитировать его в глазах класса и всех серьезных людей. Он шалил. Первый раз в жизни сестренка его испытала завидное наслаждение кататься верхом на мужчине, и, надо полагать, впоследствии, когда она вышла замуж, муж ее не раз проклинал легкомысленного братца. Почтенному старому коту, необыкновенно жирному и важному, Петр привязал на хвост бумажку. Он хотел доставить удовольствие все той же сестренке, но смеялся сам гораздо больше нее.

В понедельник на второй перемене Шарыгин после звонка попросил всех остаться в классе и взошел на кафедру.

— Господа! — начал он дрогнувшим голосом и смотря на Аврамова. — Товарищи, черт вас возьми, а не господа. Слушайте. Аврамов оскорбил меня названием подлеца...

Аврамов, покраснев, смотрел вниз.

— ...И он был неправ. Да, неправ. Он должен был сказать: «Все вы подлецы!» А так как он этого не сказал, то я говорю: все мы были подлецами! Предателями, негодьями...

Глаза Шарыгина попали в восторженно раскрытый рот философа Мартова.

— ...И скотами. Один за всех, все за одного! Вот как нужно жить, братцы. А что я... я... ударил Аврамова, то я такой... такой...

Красноречивый оратор всхлипнул и, сбжав с кафедры, устремился к дверям, но чьи-то руки, бесчисленное множество рук, схватили его и закружили.

— Задушили! Пустите, черти! Опять к директору пойду.

На большой перемене многие искали Шарыгина, но он куда-то пропал. Когда класс был отперт и восьмиклассники гурьбой, выжимая друг из друга масло, ворвались в него, их пораженным глазам представилось чудное произведение искусства. На классной доске было нарисовано распятие с заключенным в него кукишом, а перед ним в недоумевающих позах инспектор и директор, а за ними сторож Семен. Нос директора художник не мог вместить на доске и окончил мелом на стене. Внизу была подпись: «И. И. (услужливо): не огорчайтесь, И. М., этот кукиш мне. Директор (благодарно): благодарю вас, И. И.! — Сторож Семен (глубокомысленно): а я так полагаю, что вам обоим».

— Сотри, сотри! — раздался голоса, но Шарыгин не подпускал никого к доске. Да и поздно было. Селедка уже видела рисунок. Никогда она так быстро не бегала, даже когда приезжал попечитель и она метала икру. Вошел директор, а за ним на цыпочках Иван Иванович.

— Кто? — лаконически спросил директор, оценив художественность исполнения и широту замысла артиста.

— Я, — отвечал Шарыгин.

— Ты? Хорошо. Ты будешь исключен.

Но директора смягчили. Наказание было ограничено четырехдневным арестом. Когда в следующее воскресенье замок шелкнул в двери и Шарыгин остался в классе один, он впервые почувствовал, что «грязь прошлого» совершенно смыта с него. Часа через два, когда он уже начал скучать, у стеклянной двери показалось чье-то дружески мигавшее лицо. То был фи-

лософ Мартов. За ним последовал Преображенский. И целый день одна дружеская физиономия сменяла другую, и все они мигали, кричали в замочную скважину и дружески скалились. Под дверь была просунута записка, кратко возвещавшая: «Не робей!» Ночью, когда Шарыгин собирался укладываться спать на принесенной постели, внезапно дзинькнул замок. Аврамов, Мартов и еще пара друзей осторожно вошли в класс, издали показывая хлеб, длинную колбасу, такую длинную, как нарисованный нос у директора, и *horribile dictu*¹... полбутылки водки.

Друзья разошлись поздно ночью. Наибольшее удовольствие от импровизированного банкета получил сторож Семен. Он любил выпить, — большая часть полбутылки пришлась на его долю. Он не прочь был посмеяться, если кто-нибудь с положительным юмористическим талантом изображал Ивана Ивановича, который неоднократно грозился его выгнать за потачки гимнастам, — Мартов же за изображение инспектора давно стяжал заслуженные лавры. Наконец распространенное мнение о том, будто бы Семен глуп, было по меньшей мере опрочечено. Десять лет прислуживая при опытах в физическом кабинете, Семен обогатил свой ум изрядным количеством непонятных слов, дававших ему возможность с честью поддерживать всякий умственный разговор. И так как в горячем разговоре гимназистов постоянно попадались непонятные слова, напоминавшие Семену дорогую физику, как-то: прогресс, человечность, идеалы, он всей душой устремлялся за своими приятелями туда, где, по их уверению, эти слова постоянно раздаются с высоты кафедры, живут и дышат — в далекий, желанный и загадочный университет.

Проводив посетителей, Семен возвращался по темному коридору. Колблющийся огонь свечи трепетным светом озарял красное, усатое лицо, вырисовывая на стенке чудовищную движущуюся тень. Смутная грусть и сожаление наполняли глупую голову Семена.

— Ах, кабы и сторожам можно было оканчивать гимназию и переходить в университет!

¹ страшно сказать (*лат.*)

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

Сашка Жигулёв	7
Иго войны	138
Дневник Сатаны	195

ПОВЕСТИ

Жизнь Василия Фивейского	289
Красный смех	335
Иуда Искариот	371
Рассказ о семи повешенных	410
Мои записки	455
Жертва	503

РАССКАЗЫ

В холоде и золоте	519
Он, она и водка	528
Загадка	533
Чудак	544
Баргамот и Гараська	547
Любовь, вера и надежда	552
Алеша-дурачок	556
Защита	562
Из жизни штабс-капитана Каблукова	568
Что видела галка	574
Случаи	577
Молодежь	585
Памятник	592
В Сабурове	599
У окна	607
Петька на даче	621
Друг	626
Ангелочек	630
Большой шлем	638
В темную даль	644
Валя	653
Мельком	661
Молчание	667
На реке	675
Первый гонорар	684
Праздник	692
Прекрасна жизнь для воскресших	699

Рассказ о Сергее Петровиче	701
В подвале	719
Гостинец	725
Жили-были	730
Иностранец	743
Книга	752
Кусака	755
Ложь	760
Набат	765
Случай	769
Смех	774
Стена	777
Бездна	782
В тумане	791
Весной	815
Город	821
Мысль	825
Оригинальный человек	852
Предстояла кража	858
Весенние обещания	862
На станции	873
Вор	875
Призраки	885
Бен-Товит	902
Марсельеза	905
Нет прощения	906
Так было	918
Губернатор	934
Елеазар	968
Христиане	980
Из рассказа, который никогда не будет окончен	992
Тьма	995
Великан	1026
Иван Иванович	1028
Проклятие зверя	1034
Сын человеческий	1055
День гнева	1073
Неосторожность	1082
Ипатов	1085
Покой	1090
Рассказ змеи о том, как у нее появились ядовитые зубы	1094
Цветок под ногою	1097
Правила добра	1106
Возврат	1122
Он (<i>Рассказ неизвестного</i>)	1126
Сказочки не совсем для детей	1150
Земля	1152
Воскресение всех мертвых	1159
Герман и Марта	1164
Конец Джона-Проповедника	1167
Полёт	1169
Три ночи (<i>Сон</i>)	1180
Черт на свадьбе	1183
Мои анекдоты	1186
Ослы	1191
Рогоносцы	1198
Два письма	1206
Чемоданов	1214
Ночной разговор	1220
Автобиографическая справка	1239